

# ЭДВАРД РАДЗИНСКИЙ



АПОКАЛИПСИС  
ОТ КОБЫ

*гибель богов*

Апокалипсис от Кобы

Эдвард Радзинский

**Иосиф Сталин. Гибель богов**

«Издательство АСТ»

2012

**Радзинский Э. С.**

Иосиф Сталин. Гибель богов / Э. С. Радзинский —  
«Издательство АСТ», 2012 — (Апокалипсис от Кобы)

ISBN 978-5-271-43920-9

Итак, дневник верного соратника Иосифа Сталина. Калейдоскоп событий, в которых он был участником. ...Гибель отцов Октябрьской революции, камера, где полубезумный Бухарин сочиняет свои письма Кобе, народные увеселения в дни террора – футбольный матч на Красной площади и, наконец, Мюнхенский сговор, крах Польши, встреча Сталина с Гитлером... И лагерный ад, куда добрый Коба все-таки отправил своего старого друга...

ISBN 978-5-271-43920-9

© Радзинский Э. С., 2012

© Издательство АСТ, 2012

## Содержание

Апокалипсис от Кобы	7
Полезные уроки «товарищей мерзавцев»	8
Мой первый безумный поступок	10
Великая армия искусств	12
Гималаи и... Воробьевы горы	13
«Горе тому, кто станет жертвой его медленных челюстей»	16
Готовность номер один	17
Открытие Кобы	18
Друг и брат его Киров	20
Лицо учителя	21
Московские балы	24
Бог Сатурн	26
Гибель отцов Октября	31
Бал у сатаны	37
Прощание	41
Настала очередь Бухарчика	44
Великий театр великого режиссера	47
Продолжение триллера	49
Накануне конца «Наполеончика»	54
«Заслужи, дорогой, право жить»	57
Конец ознакомительного фрагмента.	58

## Эдвард Радзинский Иосиф Сталин. Гибель богов

*Эту рукопись я получил в Париже в 1976 году.*

*Я жил тогда в маленьком отеле «Delavigne» в Латинском квартале. Приехал я на премьеру своей пьесы и перед началом дал интервью парижской газете. На следующий день консьерж вручил мне тяжелый конверт... В нем были машинописная рукопись на русском языке и письмо, написанное от руки неровным почерком.*

«Соотечественник!

Прочитал ваше интервью в «Монд». Узнал, что вы решили (точнее – решились) написать биографию «первого большевистского царя Иосифа Сталина». Так вы назвали моего дорогого друга Кобу.

Я стар. Я стремительно гасну, дней моих на земле осталось немного. И все записанное мною на протяжении десятилетий – небывалых десятилетий! – попросту исчезнет в чужом городе. Я решил поторопиться приходится торопиться... Я передаю рукопись вам. Я писал ее *тогда и теперь*. Тогда, в стране по имени СССР, записывал подробно и, не скрою, витиевато. (Я ведь, как многие в революционные годы, баловался литературой, даже роман писать собирался. Оттого и жилище в Париже выбирал литературное – живу здесь, в Латинском квартале, где меня, старого революционера, окружают такие родные, понятные тени. На мой дом глядят окна квартиры отца Революции Камиля Демулена. И отец гильотины, немец Шмидт, жил неподалеку. В двух шагах отсюда Бомарше сочинял своего Фигаро... Над его наглыми шутками, раздевавшими аристократов, хохотали до упаду сами аристократы. А вскоре такие же Фигаро погнали на гильотину всю эту веселившуюся сволочь. Запомните: самые грозные идеи приходят в мир веселой, танцующей походкой. Родной нашей грузинской лезгинкой часто приходят они в мир.)

Я заканчивал писать свои Записки здесь, за границей, и, к сожалению, кратко. Дрожит рука (Паркинсон). Дрожит жалкая рука, которая так ловко убивала.

Я не надеюсь, что эти Записки помогут вам понять «нашего Кобу» – как звали товарища Сталина мы, его старые, верные друзья. Разве можно понять такого человека? Да и человек ли он?

Но смерть Кобы понять помогут. О ней написано много всякого вздора. Коба ненавидел Троцкого, но ценил его мысли. Были у Троцкого слова, рядом с которыми Коба поставил три восклицательных знака: «Мы уйдем, но на прощанье так хлопнем дверью, что мир содрогнется...» Эти слова имеют прямое отношение к жизни Кобы, но еще больше – к его смерти.

В своем интервью вы сообщили, что хотите поговорить с охранниками Кобы, которые были с ним на даче *в ту ночь*. В ту судьбоносную ночь, когда *все случилось!* Пустое занятие! Они ничего не знают. Из ныне живущих *знаю только я*, его безутешный друг Фудзи, не перестающий думать о нем.

И Коба по-прежнему рядом с Фудзи. Такие, как Коба, не уходят. Он лишь на время схоронился в тени Истории. И поверьте Хозяин, как справедливо звала страна «нашего Кобу», вернется в свою Империю. Впрочем, все это предсказал он сам, мой незабвенный друг Коба.

Мой заклятый враг Коба.

Он часто приходит ко мне по ночам, как только я засыпаю. И я чувствую его запах – старческий запах пота от поношенного кителя генералиссимуса».

*Подписи не было.*

*Далее шла рукопись.*

# **Апокалипсис от Кобы Книга вторая. Гибель богов**

## Полезные уроки «товарищей мерзавцев»

В очередное воскресенье Коба позвал меня на Ближнюю дачу.

Там я застал Бухарчика. Нас теперь постоянно сводили вместе.

Коба попросил продолжить рассказ о Германии.

Я постарался выбрать тему побезобидней, хотя это было нелегко. Уж очень мы были похожи...

Знаменитая выставка «дегенеративного искусства» еще не состоялась, но кампания против великих модернистов – Шагала, Отто Дикса, Ван Гога, Мунка, Кандинского, Кокошки, Макса Эрнста и других – шла в немецких газетах полным ходом. Гитлер назвал их живопись «наглой выдумкой еврейских проходимцев и сумасшедших неврастеников». И пообещал проходимцев отправлять в тюрьмы, а неврастеников – в больницы...

Бухарин слушал мой рассказ вполуха, он, как и я, читал немецкие газеты (если я их читал по службе, то ему эту привилегию подарил Коба) и хорошо знал все, что я рассказывал. Он пил чай и поедал конфеты (он был сладкоежка).

– Между нами говоря, искусство указанных товарищей дегенератов и вправду не понятно народу, – усмехнулся Коба. – Давай дальше, Фудзи.

Бухарин вздрогнул и начал слушать внимательнее.

Я продолжал:

– «Дух нашей партии, – писал Геббельс, – должен пронизывать все наше искусство. Новое нацистское искусство должно быть героическим, проникнутым стальной романтикой, национальным и патетическим...»

– И это недурно сказано... Чему еще учат товарищи мерзавцы?

Бухарин в ужасе слушал меня – он уже догадывался.

– «Немецкое искусство призвано воспитывать оптимизм. Никакой бедности, никаких известий о поражениях – даже в спорте. Немцы должны только побеждать».

Коба засмеялся:

– На днях привезли мне наш новый фильм «На Дальнем Востоке», где в конце погибал наш разведчик. Неумным товарищам авторам товарищ Сталин объяснил: «Мы страна победителей. Мы победили царя, голод, интервенцию, буржуазию и даже смерть. И наше кино обязано воплощать лозунг: «Пусть погибают наши враги»...» Рассказывай дальше Фудзи.

– «Противник, побежденный в сфере политики, может хитро перебросить свои силы в область культуры. Поэтому там их должен встретить не опасный вакуум, но целая армия... такая же армия, как на поле боя...»

– Между нами говоря, и здесь мерзавцы не ошиблись. Нам тоже нужны армии деятелей искусства. Доступного массам, оптимистического искусства... Мы, Николай, поручим это дело тебе... – (Надо было видеть несчастное лицо Бухарина!) – Нам требуются новые объединения работников культуры. Им надлежит беспощадно изгонять непонятные народу выкрутасы, слишком долго бывшие у нас в моде.

Бухарчик понял: ему поручают уничтожить авангард – искусство Революции. Он уже готовился возразить. Но Коба не дал ему раскрыть рта, продолжив:

– Товарищи империалисты мечтают уничтожить нас. И мы создаем неприступную крепость. Бастион! Ты, Николай, самый блестящий наш политик, сможешь создать бастион нового искусства победившего пролетариата. Это будет армия работников культуры, защищающая от врага наши партийные идеи. Думаю, настало время собрать съезд писателей и провозгласить эту всемирно-историческую задачу!

Как хорошо Коба знал его! «Всемирно-историческая задача»! Это Бухарин понимал. Глаза «самого блестящего политика» загорелись, грудь распрямилась.

– Я сделаю это, Коба! Мы создадим новые союзы – писателей, композиторов, художников... – Он вскочил со стула. Жидкий хохолок петушком встал на голове, он импровизировал: – Альфа и омега будущих союзов – «партийность». Только произведения, служащие партии, имеют право жить. И потому структура новых союзов писателей, композиторов, художников должна быть... копией структуры партии! Те же секретари, пленумы, съезды. Никаких неофициальных группок в искусстве! Они будут изгоняться, как оппозиционеры в партии...

Коба аплодировал!

– Да, Коба, – вдохновенно токовал Бухарин. – Пусть свистят, улюлюкают наши модернисты. Мы им скажем: «Напрасно беснуетесь! Нам нужно реалистическое искусство – искусство для народа. Нам нужны Толстые, Пушкины, Рембрандты, но новые, беззаветно преданные партии и рабочему классу...» Это будет новый невиданный реализм – реализм социалистический!

– Социалистический реализм! – восхищенно повторил Коба и обнял его. – Ты «любимец партии»! Ильич прав! Кстати, товарищ Горький тоже не жалуется местечковых новаторов. Я вот что подумал, Николай. Ты будешь готовить съезд писателей в связке с Алексеем Максимовичем. Два титана! Если, конечно, ты не против...

(Максима Горького по указанию Кобы несколько лет назад уговорили вернуться из эмиграции. Коба окружил нашего пролетарского классика невиданным почетом.)

– Но Алексей Максимович может не согласиться? – с несчастным видом спросил Бухарин, спустившийся снова на проклятую землю.

– Я обещаю!

Когда Бухарин ушел, Коба сказал мне:

– Догадываешься, как голосовал этот двурушник? Но сейчас предатель нужен в хозяйстве. Он и Горький. Думаю, их авторитет защитит наши Союзы от криков европейских леваков.

– Ты действительно уверен, Коба, что Горький согласится?

– Наш великий путаник товарищ Горький?.. – И Коба, прыская в усы, принялся перечислять многочисленные грехи Горького, начиная с его яростных выступлений против Октябрьского переворота. – Мы всё помним, и он это знает. Грехи надо замаливать. Это раз... К тому же у него скоро юбилей. Думаю, мы щедро отметим юбилей великого пролетарского писателя? – Коба засмеялся. – Товарищи предлагают: присвоить имя Горького городу, где он родился, – раз, главной улице в Москве – Тверской, которая идет к Кремлю и Художественному театру, – два... И самому театру тоже дадим его имя...

– Подожди, Коба! – осторожно сказал я. – Художественный театр всегда называли «театром Чехова».

– Товарищ Чехов умер, а товарищ Горький жив. И мы накрепко привяжем товарища Горького к партии... Самыми крепкими и желанными для господ интеллигентов канатами – канатами тщеславия... Товарищ Горький должен возглавить новое, нужное партии искусство. Тем более что Бухарчик, – он помолчал, вздохнул, – *не вечен*. – И внимательно посмотрел на меня: услышал ли я эти слова.

Я услышал.

## Мой первый безумный поступок

На юбилее Горького Коба еще раз доказал силу «канатов тщеславия»...

Среди приглашенных числился знаменитый французский радикал – писатель Анри Барбюс. Я очень обрадовался. В это время я много работал в Париже. С точки зрения расширения нашей агентуры во Франции Барбюс, автор знаменитого антивоенного романа «Огонь», был перспективен. Но Ягода сообщил мне, что никакого Барбюса в Москве не будет. Оказывается, француз написал протроцкистскую статью, и теперь с ним всюю воевали правоверные французские коммунисты и Коминтерн.

Я пожаловался Кобе.

– Идиот твой товарищ Ягода. Кругозор фармацевта, – сказал он. – Барбюс – политический капитал, и мы никому не позволим его транжирить. Ты его получишь. Он к нам приедет. Но присмотришь к нему сам.

Я незримо сопровождал Барбюса. Начиная с того момента, когда на границе, под кумачовым транспарантом «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» он пересел в наш поезд. Состав, который подали Барбюсу, был отнюдь не пролетарский. Это был спальный состав царского времени – куда более роскошный, чем новые европейские люкс-поезда, и намного более удобный: вагоны шире, а скорость меньше. На этом царском поезде его повезли в нашу невиданную империю, где правил пролетариат, – в Советскую республику, в новый мир. В вагон Барбюса посадили нескольких наших сотрудников, и как только отъехали от границы, его обработка началась. Француз не понимал язык, и хорошенькая переводчица (естественно, наша сотрудница) переводила и все объясняла ему. Рядом с ним в купе оказались двое трогательно простоватых мужичков. Переводчица рассказала, что это колхозники, возвращающиеся домой после отдыха, и что отдых и роскошный вагон оплатили они сами из заработанных в колхозе трудовых. Барбюс был в восторге...

После приезда в Москву я заполнил все дни писателя. Его беспрерывно куда-то возили – в театры, на выставки, на экскурсии по городу. Он смотрел, слушал и воодушевлялся... И записывал в Дневник все, как надо (каждый вечер я просматривал записи, пока он отсутствовал).

«Москва великолепна, – писал Барбюс в Дневнике, – Красная площадь – нечто поразительно татарское, восточное, византийское, а рядом, словно выходцы из другого мира, – сверхсовременные дома Корбюзье. В церквях – древние закоптелые иконы, сверкающие драгоценными окладами, а в какой-то сотне метров от них лежит в своем стеклянном гробу Ленин...»

Ему показали во всей красе столь желанную страну. Когда он бывал в музеях, несколько десятков наших сотрудников становились толпой рабочих, солдат, крестьян, неистово жаждущих насладиться искусством.

Так что он смог написать в Дневнике про «бескорыстное и искреннее стремление новой власти одним махом поднять народ из тьмы невежества до понимания Ренуара и Рембрандта». Он восхищенно говорил переводчице: «До чего же замечательный, одаренный и добрый, эталонный большой ребенок ваша Россия! Вас, русских, неверно называют терпеливыми. Вы терпеливы телом и даже душой. Но мышление у вас куда нетерпеливее, чем у любого другого народа, вам подавай сию минуту все искусство, все тайны жизни».

Но особенно пленяли его читательские восторги. Оказывается, наши простые люди читали его... не переведенные в СССР книги. Видимо, по-французски! Но он был готов уже поверить и этому... когда случилось неприятное.

Это произошло после очередной встречи с читателями. Молодая женщина, пробравшись через толпу «благодарных читателей», так и не поняв, кто эти «читатели», ловко сунула ему в карман записку. Я увидел. Тотчас пробился к нему и так же ловко выкрал ее.

«Верьте не всему, – писала она, – что вам говорят. Точнее, *всему не верьте*. За всеми нами следят, и за вами – не меньше. Ваша переводчица передает каждое ваше слово. Телефон ваш прослушивается, каждый шаг контролируется. Письмо это не просто порвите, потому что кусочки из вашей мусорной корзины достанут и составят их вместе».

Потом случилось... безумное! Уже в гостинице, когда он обедал, я... положил письмо обратно – в его пиджак! Почему? Не знаю. Думаю, пытался доказать себе, что я не раб. Но тогда я объяснил себе так: это проверка! Если наплюёт на письмо – он наш.

На следующий день планировался юбилейный вечер Горького. Утром Барбюс выглядел очень озабоченным. Но мой великий друг Коба сумел победить неприятное письмо.

Большой театр был переполнен. Барбюс скромненько сидел в восьмом ряду. Я наблюдал за ним из ложи в бинокль и ждал сообщения от Кобы. В середине доклада о славном пути великого пролетарского писателя Горького мне принесли записку: «Веди «своего» на сцену».

Я тотчас послал за французом сотрудника. В бинокль видел, как наш человек подошел и как Барбюс изменился в лице. Он, видно, тотчас вспомнил про письмо. Но послушно поднялся с кресла, и сотрудник повел его, ничего не понимающего, дрожащего от страха, прочь из зала...

Теперь я глядел на сцену. Вскоре из боковой кулисы появился черненький, усатый, испуганный человечек. В свете софитов он подслеповато, затравленно оглядывался. И тут Коба, сидевший в президиуме, как-то торжественно встал. Докладчик (видно, предупрежденный, как и я) сразу прервал доклад. Коба, глядя на Барбюса, начал аплодировать. Не разобравшийся, в чем дело, президиум поднялся вслед за ним и послушно подхватил аплодисменты Вождя. Следом вскочил такой же покорный зал.

Под гром аплодисментов Коба подошел к Барбюсу, обнял его и, потрясенного, усадил... на свое место! Сам же скромно отсел в задний ряд Президиума...

В перерыве Барбюса доверительно отвели в комнатку за царской ложей, где веселился Коба с соратниками. Здесь был накрыт стол. Барбюс стал свидетелем, как он написал, «веселых, жизнерадостных шуток», «гомерического хохота» и «адского шума», который устроили Коба и его сподвижники – Орджоникидзе, Рыков, Бубнов, Молотов, Ворошилов, Каганович и Пятницкий. «Это была «разрядка» «бурлаков индустриализации», – понимающе напишет француз.

Позже Барбюс создаст вдохновенную книгу «Сталин».

«Кто бы вы ни были, лучшее в вашей судьбе находится в руках этого человека с головой ученого, лицом рабочего, в одежде простого солдата». Цитату эту станут учить в школах, она появится на бесчисленных плакатах.

(К сожалению, с переизданием книжки возникнут трудности. Большинство трудолюбивых «бурлаков», так искренне «гомерически хохотавших», вскоре окажутся у расстрельной стенки.)

...Но вербовать Барбюса Коба, к моему сожалению, запретил. Он сказал:  
– Барбюсы нам нужны чистыми. – И добавил: – Сейчас.

## Великая армия искусств

Бухарин и Горький создавали Союз писателей в мое отсутствие (я в это время ездил между Парижем и Лондоном).

Обо всем, что происходило в Москве, читал в западной прессе.

Горький – всемирно известный русский писатель, сделал основной доклад на съезде. Он как бы освятил рождение небывалого Союза писателей. Как и обещал Бухарин, Союз этот в точности повторял структуру и устав большевистской партии. Во главе его стояли секретари, устраивались Пленумы, съезды... Всех писателей, объединенных в союз, обязали исповедовать единый художественный метод, названный «социалистическим реализмом». Главная задача писателей – отражать в своих произведениях решения партии.

По такому же партийному образцу вскоре были образованы союзы композиторов и художников. Их объявили «приводными ремнями», с помощью которых партия руководит культурой – армиями писателей, художников, композиторов...

Великую армию искусств создал Коба. Эта армия под руководством партии должна были защищать всё идеологическое пространство Страны Советов.

Детище Революции – русский авангард – мой друг отправил «на свалку истории».

Лондонские газеты, описывая наш съезд писателей, поминали немецкое министерство пропаганды и насмешливо отмечали, насколько похожи оба режима, так ненавидящие и отрицающие друг друга.

## Гималаи и... Воробьевы горы

Я вернулся в страну после Съезда писателей. И присутствовал на застолье в жилище Горького, где писатели «обмывали» окончание съезда. (Хотя вполне возможно, я путаю и это было накануне съезда – советую проверить... Недавно перечитывал свои Записки, пишу, будто Коминтерн основан в 1918 году! Что делает с памятью старость! И Коллонтай никогда не звали Софьей... Александра... Алюся, как нежно звал ее Шляпников. Проверяйте, проверяйте все мои даты!)

Щедротами Кобы Горький жил в особняке (точнее во дворце), где при царе обитал мультимиллионер Рябушинский. Особняк представлял собой смесь стилей – выдумку обезумевшего от денег богача.

В готическом зале вдоль стен, отделанных панелями из дорогого дерева, расселись полтора десятка ведущих писателей. Ждали высоких гостей. Приехали Коба, Бухарин, Ворошилов и Молотов. Взял Коба с собой и меня.

Он с Горьким и соратниками сидел за столом, писатели разместились вокруг на стульях. Я устроился рядом с писателями (я плохо знал их имена и их книги, так как читал в это время нужные мне по работе сочинения немецких, английских и французских авторов).

Коба начал говорить, и в комнате наступила благоговейная тишина. Писатели внимали. Так сейчас было положено слушать моего друга.

Коба говорил о важности писателей для партии. Он назвал их «инженерами человеческих душ». Мой друг, ученик духовной семинарии, никогда не забывал о душах. Писатели должны были формировать народные души «в нужном для партии направлении». Писатели аплодировали.

Они не понимали, не понимал и я тогда: чтобы по-партийному формировать чужие души, необходимо отдать партии свои.

Мой друг, с ошибками говоривший по-русски, теперь управлял русской культурой, становился духовным отцом страны. Отец культуры будет отныне читать или хотя бы просматривать все сколько-нибудь заметные книги *своих* писателей, оценивать картины *своих* художников и разбирать симфонии и оперы *своих* композиторов и, если надо, учить сочинять Шостаковича и Прокофьева...

После выступления Кобы последовали вопросы... Думаю, один из них запомнился всем присутствующим. Вопрос был об Ильиче и об их великой дружбе.

Коба встал и неторопливо прошелся по залу.

– Ильич – это гений, – наконец начал он. – Такие люди рождаются раз в тысячу... нет, раз в десятки тысяч лет. Он человек-гора, – и замолчал.

И тогда кто-то из писателей льстиво сказал:

– Но и вы, и ваши соратники – тоже люди-горы...

– Мы? Мы – Воробьевы горы... – произнес с усмешкой Коба и неожиданно ухватил Бухарина за жиденькую бородку, зажал ее в кулаке. – Так, Николай?

И тот ответил растерянно:

– Так, Коба.

Но Коба, все не выпуская бухаринской бородки, продолжил:

– Даже в своей болезни и смерти Ильич велик.

Писатели испуганно замерли...

Многие знали, что в конце жизни Ильич стал врагом Кобы. И ходил опасный слухок, будто мой друг поспешил отравить Ильича. Он, конечно же, знал о слухах и, видно, решил с ними покончить.

– Ильич тяжело переживал свою болезнь. Орел Революции уже не мог летать... Так, Николай?

– Да, Коба, – почти испуганно сказал Бухарин, тщетно стараясь освободить бородку из цепких пальцев.

Но Коба крепко держал ее, стоя над сидящим Бухариным, и неторопливо рассказывал:

– Ильич взял с меня честное партийное слово: если болезнь станет угрожать его мозгу, немедленно дать ему яду. Так, Николай? – Он чуть дернул Бухарина за бородку.

– Да, Коба. – Бухарин умоляюще глядел на него.

– И когда случилось неминуемое, – все так же неспешно повествовал мой друг, – Ильич позвал меня и потребовал: «Вы дали мне слово дать яду, когда мозг начнет отказывать. Сегодня этот день наступил...» На глазах Ильича были слезы... Так, Николай?

– Да, да. – Бедный Бухарин пытался улыбаться, показать, что игра с его бороденкой – веселая шутка. Сколько раз я был в подобном положении, как я его понимал!

– Но я слишком любил Ильича! Я не мог! Правда, Николай? – Коба опять дернул.

– Так, Коба, – уже чуть не плача отозвался Бухарин.

– И пришлось мне поставить этот вопрос на Политбюро. Спасибо товарищам, они освободили меня от данного слова. Ильич умер своею смертью. – Он в последний раз рванул бородку. – Так, Николай?

И тот снова несчастно кивнул.

Коба отпустил его.

Встреча закончилась.

Коба и Бухарин о чем-то говорили с Горьким. Присутствующие не смели их беспокоить. Они окружили молчавших весь вечер Молотова и Ворошилова.

Я услышал, как один из писателей с добрым крестьянским лицом, с забавной фамилией Чумандрин, окая, спросил Ворошилова:

– А если вдруг я решу писать не в этом... как его... в социалистическом реализме?..

– То есть как это – ты решишь?! – прервал его Ворошилов. – Кто тебе позволит самому решать?! Ишь размахнулся – он решит!

Все дружно рассмеялись. Когда обиженный Чумандрин отошел, кто-то из писателей сказал:

– Олеша говорил, будто однажды он пошел в «Комнату смеха»... И так как там никого не было, он приспустил штаны и показал голую задницу в кривом зеркале... И что он там увидел? Лицо Чумандрина!

Все вместе с Ворошиловым грохнули здоровым хохотом.

Коба, закончив разговор с Горьким, попрощался с писателями.

И тогда кто-то решился заговорить с ним о самом волнующем:

– Дорогой Иосиф Виссарионович! Хотелось бы, чтобы союз решал и наши насущные бытовые проблемы. Летом в городе бывает очень душно, а дач у писателей нет... Как тут писать?!

Коба с мрачной усмешкой ответил:

– Писать надо хорошо... А дачи... дачи скоро освободятся... Много дач... Дадим и вам, – и опять спросил Бухарина: – Так, Николай?

Тот поспешно кивнул.

(Надо отдать должное моему другу – он одарит творцов с восточной щедростью. Столь редкие в СССР отдельные квартиры получают все «выдающиеся деятели новых союзов» и,

конечно, руководители этой новой армии искусств. В огромных бесплатных мастерских будут писать нужные партии картины нужные художники, в великолепных полубесплатных домах творчества – творить и отдыхать писатели и композиторы. Впрочем, мне все это было знакомо. Я уже видел подобное в гитлеровском Берлине.)

После застолья Коба повез меня на Ближнюю. В машине заговорил:

– Ты, конечно, не понял мои слова про Воробьевы горы. – Он хмыкнул в усы. – Дело было так. Когда Бухарчик начал сражаться с товарищем Сталиным на Политбюро по поводу коллективизации, я ему сказал в перерыве заседания: «Уймись, Николай! После смерти Ильича мы с тобой Гималаи, а вокруг нас осталась мелюзга. Зачем ссориться? Мы должны быть вместе. Ты же знаешь, Ильич ненавидел русское крестьянство... Это реакционное болото! Николай I, не чета последнему Николашке, умирая, завещал сыну: «Держи всех! Держи вот так!» – и Коба показал кулак. – Вот *такой кулак мы покажем кулаку!* Вот что такое диктатура пролетариата. Если мы забудем про кулак и кулаков, на второй день они нас сметут. Так учил нас Ильич»... Бухарчик со мной согласился... Продолжается заседание Политбюро – и что же? Он берет слово, как всегда, приходит в восторг от собственной речи... И ради красного словца нападает на товарища Сталина! Все выложил членам Политбюро – и про мелюзгу, и про Гималаи, и про кулак... Но мелюзга его не поддержала, они умные, слава богу! Вот так! Не согласился тогда быть Гималаями, а теперь Воробьевыми горами быть соглашается... холмом жалким. Но я ему не верю! Проститутка! Думаю, слух, что товарищ Сталин отравил Ильича, идет из той же бухаринской подворотни!

Я невнимательно слушал этот рассказ Кобы. Его слова о том, что «скоро дачи освободятся... много дач», не шли у меня из головы.

## **«Горе тому, кто станет жертвой его медленных челюстей»**

В это время в стране началось «потепление», сопровождавшееся бесчисленными триумфами, гигантскими проектами и победами.

В газетах обсуждали проект Дворца Советов. Величайший храм большевизма готовился вознестись на месте уничтоженного храма Христа Спасителя. Небывалое сооружение высотой в четыреста метров, увенчанное стометровой скульптурой Ленина, с залом на двадцать одну тысячу мест!

Мой друг семинарист на месте православного храма решил возвести храм новой религии. Коба задумал поднять в небеса лик Боголенина...

Каждый раз, возвращаясь ненадолго в Москву, я заставлял очередную победу.

Ледоколы осваивали Северный морской путь... Во льдах застрял старенький обветшавший корабль «Челюскин». Коба немедленно превратил несчастную историю в великое достижение. Вся страна следила за спасением команды «Челюскина». Героями были объявлены спасатели и спасаемые. В Москве им устроили грандиозную встречу. Разрывались от оглушительных победных маршей репродукторы, ревностные голоса дикторов непрерывно славил Вождя (слава Богу, мое ухо привыкло к подобному еще в Берлине).

Но я уверял себя, что славословие и грохот победных маршей дают ему возможность забыть свое горе. Да и сам Коба казался мне как-то человечнее, мягче – он часто жаловался на одиночество и вспоминал о Наде. В это время репрессии против врагов прекратились. Арестовали, правда, поэта Мандельштама, но вскоре выпустили, ограничившись ссылкой (хотя поэт написал ужасные стихи о самом Кобе). Мы вступили в Лигу Наций. И Коба сделал даже первую идеологическую уступку. Джаз, объявленный прежде «музыкой толстых, буржуазным искусством», разрешили играть в парках. Именно тогда, летом тридцать четвертого года, я велел своим агентам широко пропагандировать между эмигрантами лозунг: «Красная Россия становится розовой».

В эти годы завершилось строительство Беломорско-Балтийского канала, сооруженного заключенными и воспетого членами нового Союза писателей.

Кости заключенных щедро устилали его берега. На них отечески смотрел памятник – тридцатиметровая звезда, внутри которой находился гигантский бронзовый бюст Ягоды. Глава нашей Лубянки справедливо считался отцом Беломорканала.

Страна ликовала, славя новую победу. Коба вместе с Кировым (он часто называл его «братом Кировым») на корабле прошел по каналу. Правда, в плавание он, к всеобщему изумлению, не взял Ягоду. Вместе с ними отправился новый заместитель Ягоды – Николай Ежов...

Ежова нашли где-то в провинции. Я не знал его лично, но мне предстояло его увидеть.

И Ягода, как и все мы, тогда не понял, что *Коба начал набирать новую команду – участников будущего невиданного действия.*

Замечательно сказал о Кобе наш друг Авель Енукидзе: «Горе тому, кто станет жертвой его медленных челюстей». Медленных – ибо мой друг никогда не спешил. Он до конца разрабатывал план, давая жертвам время успокоиться, потерять бдительность...

Пока мы, усыпленные происходящим, верили в «потепление», он обстоятельно заканчивал подготовку к невиданной крови.

## Готовность номер один

Летом тридцать четвертого года состоялась реорганизация нашего ведомства. ОГПУ вошло в наркомат внутренних дел (НКВД). Реорганизация показалась мне тогда формальной. Между тем она была судьбоносной. Тайная полиция и наша разведка окончательно отдалялись от партии, от Политбюро. И прятались в недрах могущественного наркомата внутренних дел. Народным комиссаром этого всемогущего наркомата он назначил все того же Ягоду. Его первым заместителем стал Ежов.

Был принят закон «Об измене Родине», по которому множество деяний – шпионаж, переход на сторону врага, разглашение военной и государственной тайны, бегство из страны – карались *смертной казнью (расстрелом)*.

Так Коба подготовил наказание для жертв будущего «невиданного действия».

И этого тоже тогда никто не понял.

## Открытие Кобы

Пожалуй, только одна встреча с Кобой меня насторожила.

Буквально накануне всех страшных событий я был у него на Ближней даче.

Я знал, что Коба никогда не вел дневников, как не вел их Ленин. Это запрещалось и его ближайшим соратникам. Наша подпольная в прошлом партия осталась помешанной на секретности. Недаром Коба называл ее Орденом Меченосцев (мы всегда чувствовали себя религиозным тайным орденом). Был лишь один источник, которому Коба доверял свои истинные мысли, – книги. Он щедро черкал их пометками, как бы разговаривая в них и с автором, и с самим собой. Я знал эту его привычку. Коба даже поссорился из-за нее с нашим пролетарским поэтом Демьяном Бедным. Демьян был страстный собиратель книг, в его библиотеке имелись редчайшие издания. Многие он скупил за бесценок в голодные годы. Коба часто брал книги у него. И к ужасу Демьяна, на них потом оставались следы от жирных пальцев. Но не это было самое страшное. Коба порой покрывал книги пометками. И тогда уже не возвращал. Демьян в ярости как-то сказал про эту привычку и про жирные пальцы. Кобе тотчас донесли, и это стало концом их дружбы и началом газетных разносов Демьяна. Коба был очень обидчив...

Итак, я приехал на дачу и сидел в Малой столовой, где в ту ночь спал мой друг.

Он был в Большой столовой – говорил по телефону.

На диване, на ночном столике, на круглом столе, где Коба до этого завтракал, – всюду были разбросаны книги, которые он тогда читал. Он обычно читал по несколько книг сразу.

На ночном столике лежал томик Троцкого. Зная привычку Кобы писать на полях свои мысли, я тотчас его открыл... Весь том был испещрен пометками: «Верно», «Так!»... Красным карандашом подчеркнута знаменитая цитата: «Поповско-квакерская болтовня о священной ценности человеческой жизни».

Рядом с Троцким – Платон... И его я торопливо пролистал и нашел жирное подчеркивание. Это были платоновские слова: «Тиран возникает из корня... называемого народным представительством. В первое время он улыбается, обнимает всех, с кем встречается... обещает много... Но став тираном и поняв, что граждане, способствовавшие его возвышению, осуждают его, тиран вынужден будет исподволь уничтожать своих осудителей, пока не останется у него ни друзей, ни врагов». И далее (тоже на полях) уже почерком Кобы выписано: «Тиран держит общество в состоянии войны или ее угрозы. Общество должно жить в страхе военного времени и надеяться на Вождя»...

Самой интересной оказалась «История государства Российского» Карамзина... Там были заложены страницы об Иване Грозном. Большими буквами в главе об опричнине написано несколько раз: «Учитель... Учитель». И подчеркнуты дважды слова: «Как конь под царем без узды, так и царство без грозы».

На диване я увидел раскрытый томик Маркса. Там в послесловии была обведенная Кобой овалом удивительная цитата из какого-то немецкого поэта: «Мы достаточно долго любили, мы хотим, наконец, ненавидеть».

Вот так Коба, возможно, впервые искренне побеседовал со мной. Побеседовал он и с покойным Ильичом. В томике Ленина, лежавшем тут же на диване, на первой же странице он записал: «1) слабость, 2) лень, 3) глупость – единственное, что может быть названо пороками. Все остальное, при отсутствии вышесказанного, – добродетель». Такую мораль он как бы предложил покойному Вождю перед тем, как истребить его сподвижников.

(Я узнал, что после смерти Кобы его библиотека, тысячи книг, была расформирована и почти вся исчезла... Жаль. Это был единственный путь понять, о чем в действительности думал скрытнейший из людей.)

Я торопливо закрыл книгу, заслышав шаги. И отошел от опасного дивана.

Коба вошел, посмотрел на меня пристально, усмехнулся. Взял Платона, подмигнув мне, сказал по-русски:

– Учимся понемногу, учимся... – Помолчав, добавил: – Я на днях читал о Робеспьере. Как же ему мешали все его вчерашние друзья. Он уничтожил их, и немало. Но так и не посмел уничтожить всех. И чем кончил? Оставшиеся уничтожили его...

Вошедший в этот момент начальник охраны Паукер объявил:

– Ягода.

Коба кивнул, появился Ягода.

– Я все думаю, товарищ Ягода, – сказал Коба, не поздоровавшись и как бы продолжая мысль, – вот мы достигли больших успехов. Но с нашими успехами вряд ли согласятся наши классовые враги... Мы испытали злобу их наймитов во время последнего съезда партии. Возникает вопрос: случайно ли это? – Он походил по комнате. – Полагаю, не случайно. Классовая борьба по мере нашего продвижения к светлому будущему непременно будет... что?

Ягода молча уставился на него.

– Обостряться, товарищ Ягода, – закончил Коба.

Нет, я не понял тогда масштабов того, о чем он говорил. Думаю, не понял и Ягода. Все мы никогда не могли осознать его масштабов. Но одно я уяснил: готовится ужасное. И обрадовался, что должен уехать за границу.

А мой друг продолжал:

– Так что, товарищ Ягода, следует тебе сейчас быть особенно бдительным. К примеру, товарищ Киров, доказавший на прошедшем съезде преданность партии и лично товарищу Сталину, наверняка вызывает ненависть наших врагов и нуждается сейчас в особой охране.

Какое лицо было у Ягоды! Растерянность, потом мучительное раздумье и, наконец, радостное торжество... Он что-то понял!

– Это очень не просто, товарищ Сталин, – медленно сказал Ягода. – Товарищ Киров не слишком разборчив в личных связях. В последнее время он сожительствует с балериной...

– Что несешь?! – оборвал Коба. – Оберегать тебе его надо, а не перебирать грязное белье! Товарищ Киров переезжает в Москву – вторым секретарем нашей партии.

И тут вошел Киров.

## Друг и брат его Киров

Коба взял со стола только что напечатанную брошюру. Это была его речь на XVII съезде партии. Зажал перо короткими толстыми пальцами, надписал, торжественно протянул Кирову.

Киров прочел вслух:

– «Другу моему и Брату».

Они обнялись и поцеловались (Коба ужасно целовался – мокрыми губами). И, добро погрозив Кирову пальцем, сказал:

– Послушай, на тебя жалуется Ягода. Говорит, переёб всех балерин в Ленинграде. И как ты с ними можешь... ни грудей, ни жопы. Пойдем сегодня в Большой театр, на певич посмотришь. Они хоть на женщин похожи.

Киров засмеялся. Сильный, коренастый, русоволосый, он кроваво поработал во время коллективизации. И воистину был предан Кобе. Он обладал всеми нужными соратнику Кобы качествами – недалекий, но работоспособный и исполнительный.

В это время пришла нянечка Светланы. Улыбаясь, передала Кобе какой-то листок. Он прочел, рассмеялся и показал нам записку, написанную корявым детским почерком: «Приказываю разрешить мне пойти с тобой смотреть кино, а то скукота». И подпись: «Хозяйка Светлана».

У них тотчас после Надиной смерти началась эта игра. Светлана – Хозяйка, и у нее секретари. Первый – Коба, далее – Молотов, Киров и прочие члены Политбюро. Светлана писала приказы и вывешивала на стене его комнаты или посылала ему.

– Боюсь, от певич придется отказаться. Будем смотреть детское кино. Ничего не поделаешь, приказ начальства. – Как ему нравилось, что им распоряжается любимое маленькое существо! Хоть в этом было что-то человеческое. – Не в службу, а в дружбу – отведи ее в кинозал, Фудзи, а мы тут закончим дела.

Я все больше становился у него вроде эконома, я – вчерашний удалый боевик. Он знал, как мне это больно. И это его знание было для меня опасно.

## Лицо учителя

Накануне отъезда (на этот раз в Женеву; после побега из Германии я сделал там свою штаб-квартиру) пришел попрощаться с Кобой.

Впечатления от того декабрьского посещения были удивительные...

Дело в том, что приблизительно полгода назад Ягода при мне рассказал Кобе: мол, в Ленинграде в Эрмитаже совсем молодой антрополог разработал новый метод – восстановление лиц по черепу. Им тотчас заинтересовалась Лубянка. Провели проверочные испытания – брали черепа «неизвестных людей» (точнее, расстрелянных) и предлагали ему воссоздать внешность. Потом сравнивали с фотографиями в деле. Оказалось, он восстанавливал лица «один к одному»...

Ягода предложил Кобе:

– Зная вашу высокую оценку Ивана Грозного, можно поручить ему восстановить лицо царя Ивана. Он клянется, что сможет сделать это в точности. Сына Ивана – тоже. Может, разрешим ему вскрыть их захоронение, Иосиф Виссарионович?

– Еще чего! Тревожить Ивана Грозного? Пошли его, Ягодка! – но потом добавил: – Вечером позвони, подумаю...

И вот в тот декабрьский день мы вышли с Кобой на прогулку по Кремлю.

Личную охрану его в те годы, как я уже писал, возглавлял некто Карл Паукер. Был он до Революции парикмахером в будапештском Театре оперетты. Попал в русский плен во время мировой войны. Далее – Октябрьская революция, ЧК, потом блистательная карьера...

Я думаю, он быстро понял Кобу – его страхи бывшего террориста. И теперь все время придумывал что-то новенькое для безопасности любимого Вождя.

Я находился в Германии, когда в ноябре тридцать первого года на Кобу было совершено покушение, кажется, английским шпионом русского происхождения.

Никто на Лубянке не мог мне толком рассказать, что случилось. Все, касаемое этого события, тотчас засекретили.

Когда я начал расспрашивать Кобу, он грубо прервал меня:

– Мерзавца повесили за яйца... и хватит об этом!

Я уверен, что никакого покушения не было. Лжепокушение организовал Паукер.

Он направил донесение о покушении в Политбюро. Политбюро тотчас приняло желанное постановление: «Пешие хождения по Москве товарищу Сталину прекратить».

Постепенно заботливый Паукер ввел беспрецедентные меры безопасности. Отныне Кобу охраняли сотни сотрудников.

Когда он выезжал из Кремля, весь маршрут объявлялся на военном положении. Движение автомобиля контролировали патрульные машины, на всём пути следования стояли переодетые агенты. Рядом с Кобой в машине, готовясь защитить его грудью, всегда сидел Паукер.

Паукер добился большего: постановлением Политбюро Кобе запретили ходить без охраны даже по Кремлю. Коба бунтовал, обзывал Паукера «идиотом». Это была такая игра: Паукер играл роль старого заботливого дядьки при смельчаке Кобе, по-мальчишески пренебрегающем опасностями. И Коба соглашался на «весь этот идиотизм» как бы по принуждению, из-за постановления Политбюро. Что делать, Генеральный секретарь партии Коба обязан подчиняться партийной дисциплине!

Мы шли по совершенно пустому Кремлю (теперь Кремль становился пустым, когда Коба выходил на прогулку). Ясное утро, морозец. В длинной кавалерийской шинели – Коба. Рядом я – в модном осеннем французском пальто. Я сбрил усы по требованию Кобы, отрастил эспаньолку.

Спереди, сзади и вокруг нас – охрана. Прогулку возглавлял сам Карл Паукер. Несмотря на мороз, он был в наброшенной на плечи шинели, в мундире, затянут в корсет. На груди – орден Ленина. Шагал, удало покачивая толстым задом.

– Педик, – прыснул в усы Коба, – но забавный.

Паукер одновременно с руководством охраной исполнял роль шута. Он, довольно чисто говоривший по-русски, всегда разговаривал при Кобе со смешным акцентом. И еще уморительно передразнивал людей...

Обычно во время прогулки по Кремлю Коба проходил мимо закрытого Архангельского собора, где похоронены московские цари, и дальше – вдоль зубчатой стены над Москвой-рекой.

На этот раз, к моему удивлению, Архангельский собор был открыт. Как всегда, ничего мне не объясняя, Коба вошел туда. Внутри – холод, неприятный электрический свет, иконы с погасшими лампадами и белокаменные надгробия.

У надгробий стоял навытяжку комендант Кремля.

– Все вернули обратно? – спросил Коба.

– Так точно, товарищ Сталин, не извольте беспокоиться. Останки уложили аккуратно в саркофаг. Сам мужчина, который брал череп, все проверил. Он ждет вас внизу.

Мы прошли в церковный придел. Здесь комендант открыл тяжелую кованую дверь. И двинулся впереди с фонарем. За ним – Паукер и окруженный охранниками Коба. За охранниками – я.

За дверью начиналась лестница, ведущая в подклеть собора. На каждой ступеньке, вжимаясь в стену, стояли офицеры НКВД с фонарями.

Коба начал спуск. Бросил мне, не оборачиваясь:

– Спускайся, чего встал?

Изумленный странным маршрутом, я последовал за процессией.

Сошли по каменным ступеням в подклеть. Она показалась мне огромной. Горел тусклый электрический свет, вдоль стен также стояли наши сотрудники с зажженными фонарями. Вся подклеть была заставлена разбитыми гробами из белого камня...

– Это что за безобразие? – Коба ткнул в обломки рукой.

– Точно так – безобразие, товарищ Сталин, – весело отозвался комендант. – Это гробы московских цариц. После Революции, когда в Кремле ликвидировали женский монастырь и начали строить школу красных командиров, Ильич велел это добро уничтожить. Они в монастырской церкви тогда лежали. Но кто-то из контры... много их тогда было... настоял сохранить, дескать, эти московские царицы записаны в истории. Их на телегах перевезли в Архангельский к мужьям и сбросили в подклеть через отверстие в полу. Они и побились... – Коба мрачно слушал. – Теперь мужья наверху спят в соборе, а жены в подклети лежат – под мужьями, как положено... Вон, говорят, мать самого Ивана Грозного, – комендант как-то по-свойски посветил фонарем на разбитый гроб – в тусклом свете выступал череп. – Там у нее даже рыжая прядка осталась... Красавица, говорят, была. А вот здесь жена Ивана Грозного Анастасия. Эксперт осматривал. Ученый из МГУ... У нас заключение осталось – обе отравлены. Хотите посмотреть Анастасию, товарищ Сталин?..

– Помолчать можешь? – оборвал Коба.

(Он, как это ни смешно... боялся покойников. Ненавидел ходить на похороны. Когда с Надей надо было прощаться, он очень мучился.)

– Так точно, товарищ Сталин. Но, может, ликвидировать безобразие?

– Не трогать. Пусть лежат, – и приказал: – Несите.

Трое энкавэдэшников и комендант направились к человеку в белом халате, стоявшему посреди этого странного кладбища перед деревянным постаментом. На постаменте виднелась гипсовая голова.

В свете фонарей они осторожно подняли деревянный постамент и понесли к нам.

Человек в белом халате – совсем молодой, со смуглым, обожженным солнцем лицом – нес за ними гипсовую голову, затем торжественно водрузил ее на постамент.

Это была голова старика – в натуральную величину. Никогда я не видел такого лица. С хищным орлиным носом, с презрительным чувственным ртом – сладострастник, этакий старый Карамазов из Достоевского. Я понимал: это лицо, восстановленное по черепу. Но как череп мог сохранить эту брезгливость пресыщенного повелителя, это яростное сладострастие?!

И я смотрел, смотрел на гипсовую голову – оторваться от нее было невозможно.

– Рассказывайте, товарищ Герасимов, – распорядился Коба.

– Когда мы вскрыли гробницу, Иосиф Виссарионович, царь Иван Грозный лежал в монашеском одеянии. Дело в том, что московские цари – отец Ивана Василий и сам Иван – перед смертью постриглись в монахи...

– Между нами говоря, молодой человек, мне и товарищу Фудзи рассказывали это в семинарии.

– Простите, Иосиф Виссарионович... Царь лежал в гробу с согнутой в локте и поднятой рукой. Объяснения этому у нас пока нет. Думаю, это какой-то древний утерянный обряд. Череп мы аккуратно уложили обратно в гроб. В гробу теперь все как было...

Коба жестом попросил его замолчать. Он смотрел на любимого государя.

– Значит, вы уверены, что он был таков?

– Абсолютно уверен. Судите сами, лобные кости... – начал объяснение Герасимов.

– Не надо, – прервал Коба. – А где же его сын?

– К сожалению, лицо Ивана Ивановича восстановить невозможно. Как свидетельствует летопись, царь убил сына посохом в припадке гнева. Однако это был не единичный удар. Иван Грозный ударил его посохом несколько раз. Царевич, видно, уже находился без сознания, но царь продолжал жестоко бить. Череп совершенно размозжен ударами, раздроблен по осевой линии...

– Достаточно, – сказал Коба.

– Иосиф Виссарионович, я хочу обратиться с просьбой. Я мечтаю сделать скульптурный портрет Тимура. Захоронение находится в Самарканде...

– Пока не надо... Одного вы уже нам показали. Вы свободны, товарищ Герасимов. Благодарю за отличный труд.

Когда тот ушел, Коба бросил Паукеру:

– Возьми с него подписку о неразглашении...

Он долго стоял у царской головы. Потом приказал кратко:

– С таким лицом великий государь Иван Грозный нам не нужен. Разбейте.

(Уже после смерти Кобы Герасимов еще раз вскрыл могилу и сделал новый портрет Грозного царя. Я видел его репродукцию в американском этнографическом журнале.)

Когда вышли из собора, Коба сказал:

– Говорит: «жестоко бил» сына. Обывательский разговор. Обыватель не понимает. Правитель – это Авраам, подчас отдающий в жертву сына Исаака. – Он уставился мне в глаза. – Думаю, враги Ивана попытались использовать сына, а сын слаб оказался, на поводу пошел. Надо попросить, чтоб историки порылись и доказали. Да, царь был грозен. Без грозы государства не создашь... – И повторил с горящими глазами: – «Как конь под царем без узды, так и царство без грозы...» Значит, завтра уезжаешь? Попадешься – обменивать не буду. На хрен ты мне нужен! Надоел! Ну, в добрый путь! – И влажно поцеловал в губы.

Я ехал домой и повторял: «Затеваается... «Как конь без узды...» Значит, и узда, и гроза будут непременно».

## Московские балы

В тот же день вечером у меня была назначена встреча с агентом – сотрудником американского посольства. Он попал в трудную ситуацию – проигрался в карты на очень большую сумму. Этот безумный в игре картежник был весьма ценным кадром. Когда-то мы его завербовали при помощи карточного долга. И вот сейчас ему срочно потребовались наличные. Он умудрился сообщить мне об этом в пять вечера накануне моего отъезда в Женеву. При этом он обязан был присутствовать в американском посольстве, где в ту ночь планировался очередной бал.

Послом тогда был некто Буллит – человек фантастический, то ли любовник, то ли муж подруги знаменитого журналиста-радикала Джона Рида. (Книга Рида «10 дней, которые потрясли мир» об Октябрьском перевороте со времен Ильича считалась у нас классикой. Но бедняге Риду уже после смерти, на том свете пришлось серьезно дорабатывать свое сочинение, и в новых изданиях из него начал исчезать... отец Октября Троцкий!) Этот Буллит, которого Фитцджеральд описал в романе «Великий Гэтсби», был человеком, любящим и умеющим роскошествовать. Как докладывал наш агент, богач посол обещал на свои деньги превратить посольство «в одинокий островок американской жизни в океане советской злой воли».

(Кстати, впоследствии он устроит уже совсем невероятный бал, о котором я расскажу позже. Пока же сей балетоман тренировался, организовывая в посольстве один за другим балы очередные.)

Во время этого бала, где играл приехавший из Америки знаменитый джаз-банд, я должен был передать деньги моему агенту. Но сначала предстояло их получить.

Пришлось звонить Ягоде. Он выругался, но деньги обещал дать... на балу! Оказалось, и в нашем ведомстве НКВД затевался бал! Получалось забавно: на балу НКВД я должен был получить злополучные деньги и перенести их на бал американский.

Вот так в пролетарской Москве, где в ту ночь в коммунальных квартирах укладывались спать усталые, плохо умытые люди, чтобы завтра чуть свет бежать на работу, состоялись два роскошных светских мероприятия.

Я подъехал к клубу НКВД в семь часов. У входа стояло множество охраны. Я не был здесь год и, войдя, не узнал помещения. Ягода постарался: в особняк вернулись зеркала, дворцовая мебель, лепнины на потолках – клуб был превращен в типичное царское офицерское собрание. Вообще в тот приезд я с изумлением отметил, что страна начала отчетливо перерождаться в исчезнувшую империю Романовых. Потонувшая Атлантида потихоньку всплывала под еле слышное, недовольное роптание старых членов партии...

Я вошел в зал, тонувший в полутьме. Светился только огромный зеркальный шар, подвешенный к потолку. Он разбрасывал вокруг белые блики, будто падал снег. Метель бушевала на невиданных прежде парадных мундирах НКВД. Ослепительно белый китель с золотым шитьем, нежно-голубые штаны, на боку – позолоченный кортик (такой носили морские офицеры при царе). Кто был не в мундире, щеголял в черном смокинге. Дамы – в масках и в длинных вечерних платьях. Юные девицы – в маскарадных костюмах а-ля Кармен, а-ля Клеопатра. И это «аля» – не случайно, ведь костюмы были взяты из Большого театра...

Об этом рассказал мне сам Ягода в обставленном старинной мебелью кабинете директора клуба. Там же присутствовал незнакомый мне маленький человечек. Ростом и быстрыми юркими движениями он удивительно напомнил мне... Геббельса. Но Геббельса с добрыми, ясными детскими глазами.

– Это мой заместитель товарищ Ежов, – представил Ягода.

«Геббельс» застенчиво протянул мне руку... Этот Ежов, как я узнал потом, был воистину совсем простой человек из рабочих, с тремя классами образования, малограмотный и писавший со смешными ошибками.

– Мундиры видел? – спросил меня Ягода. – Сегодня первый раз надели. Образцы Хозяину понравились, – и добавил тихонько, но значительно: – Любит царское. – Он засмеялся лающим смехом. В этот момент в кабинет вошел знакомый мне глава ленинградского НКВД, невысокий мужчина с бородкой клинышком и весьма не подходящей ему забавной фамилией – Медведь. Он остановился в дверях, не поздоровавшись.

Ягода засуетился, торопливо передал мне портфель с деньгами, и я ушел...

Помню, когда проходил через зал, оглушительно играл фокстрот, бешено крутился шар и безумный снег призрачно летел на костюмы и лица. Веселящиеся здесь, как и я, не знали тогда, что это очередной пир во время наступающей чумы. Всем им предстояло погибнуть. Правда, прежде они должны были погубить других.

Сначала я отправился на вокзал и оставил пакет с деньгами в камере хранения.

Затем подъехал к особняку американского посла – в Спасопесковском переулке.

Естественно, теперь (на случай встречи с иностранными знакомыми князя Д.) я был так заgrimирован, что меня не узнала бы родная мать.

Была половина первого. В вестибюле у входа в зал посол встречал гостей. К нему выстроилась бесконечная очередь – представляться.

Я вошел в главную залу. Оглушительно трудился джаз – негры из Нового Орлеана. Пары кружились в танце. Вокруг – все растущая толпа. Агента я увидел сразу, он беседовал со своей любовницей, хорошенькой итальянкой, служившей в посольстве. Проходя, сунул ему в карман ключи с номером ящика в камере хранения.

## Бог Сатурн

Уже в Женеве в вечерних выпусках я прочел об убийстве Кирова.

А по возвращении в Москву узнал подробности от ленинградского друга, бывшего кронштадтского матроса, ставшего следователем в ленинградском НКВД.

Подробности меня поразили.

Кирова убил молодой партиец Леонид Николаев. Он служил в свое время у нас в ГПУ, потом ушел, перебрался, кажется, куда-то в провинцию. Вскоре вернулся в Ленинград, нигде не работал. Жена, высокая прибалтийская красотка блондинка, бросила его и находилась в связи с неугомонным Кировым. Николаев сильно пил, и, конечно же, на него завели дело. Дело сначала вел следователь, который утонул, купаясь в Неве, и его передали моему другу, хорошо знакомому мне по Петроградской ЧК.

Материалы совершенно изумили его. В деле были зафиксированы разговоры Николаева о великом пролетарском прошлом партии, о ее буржуазном настоящем, о ленинской гвардии, отстраненной от руководства, – короче, обо всем, о чем думали многие, но не говорили... Николаев же говорил «кому-то», и этот «кто-то» сообщал «куда надо», но тем не менее Николаева не потревожили! Этот безымянный «кто-то», видно, рассказал ему о проделках жены. Ибо в деле появились разговоры о том, что Киров – продукт разложения партии и кто-то должен убрать мерзавца. Пожертвовав собой, взорвать атмосферу всеобщего гниения. Более того, он начал писать Кирову – требовал устроить его на ответственную работу. Первое письмо вручил сам у подъезда Смольного, когда Киров выходил из машины. И охрана... позволила! Он писал Кирову, что *на все готов*, если ему не помогут организовать достойную жизнь! Киров не ответил, но передал письмо «куда следует», и оно попало в дело. Но... опять Николаева не арестовали! И он в первый раз отправился в Смольный поговорить с Кировым. Его задержали, нашли при нем пистолет и некий чертеж... и отпустили с миром! Чертеж оказался схемой утреннего маршрута Кирова! Но и на этот раз Николаева не тронули! Будто ждали от него чего-то... Он продолжал свои разговоры с «кем-то», сообщил, что ему уготована жертвенная роль Желябова и Радищева и он уже написал свое завещание партии...

Ознакомившись с делом, мой друг приказал немедленно арестовать Николаева. Но вернувшийся из отпуска Медведь (тот самый глава ленинградского НКВД, которого я видел в кабинете Ягоды накануне убийства Кирова) приказ отменил, сказал, что еще рано, что они следят за Николаевым. Дескать, Николаев наверняка не один, и нужно не спугнуть его, выявить сообщников и тогда уже взять всю сеть.

Мой друг возражал, но Медведь добавил:

– Это приказ Ягоды.

После чего у моего друга забрали дело.

В день убийства Николаев преспокойно вошел в Смольный через охраняемый «секретарский подъезд», ведущий прямо к кабинету Кирова. Вошел с оружием! Ожидая Кирова, вольготно сидел на подоконнике в сверхохраняемом коридоре! Причем Киров шел по коридору навстречу своему убийце один. Вопреки правилам, введенным Кобой, впереди него не было охранника. Охранник... отстал! И Николаев легко застрелил любимца Кобы!..

Рассказав все это, мой ленинградский друг молча посмотрел на меня. Молчал и я. Слушая его рассказ о Николаеве, я, конечно же, вспомнил сумасшедшего голландца, которого гитлеровская спецслужба умело подтолкнула поджечь Рейхстаг.

К сожалению, мой ленинградский друг делился этими сведениями не только со мной. Он исчезнет в числе первых, как и Медведь, и все те, кто прикоснулся к этому делу.

Впрочем, кто убил Кирова – было ясно многим, не знавшим всех обстоятельств дела Николаева. Во всяком случае, вскоре в партии запели озорную «десятилетнюю» («певцы» за нее получали десять лет) частушку:

Ах огурчики-помидорчики,  
Сталин Кирова пришел в коридорчике.

Но ни я, ни «певцы» не могли представить тогда всю шахматную партию, которую задумал Коба... Мы не поняли, что убийство Кирова – это наш поджог Рейхстага («Учимся, понемногу учимся»). Кровь, пролитая в коридоре Смольного, должна была положить начало небывалой крови.

Рожденная в том же Смольном Октябрьская Революция приготовилась доказать миру, что она – вечный бог Сатурн, пожирающий своих детей.

Я много думал впоследствии: считал ли Коба себя убийцей Кирова? Никогда! Для него убийцами были враги. Именно они попытались сделать Кирова своим знаменем! Из-за происков этих «двурушников» (любимое определение Кобы), во имя окончательной победы над врагами, *пришлось* отдать верного друга. Любимого друга. «Как Авраам отдал в жертву сына Исаака». Исходя из любимой им логики, он мог сказать себе: объективно – это они убили «брата Кирова», как прежде – объективно – они убили Надю. Убийцам двух самых дорогих людей – месть и ненависть!

Убитый «брат Киров» уже вскоре начал служить своею смертью.

Через день в женеvской газете я прочел постановление правительства СССР «О порядке ведения дел о террористических актах против работников Советской власти». Сроки следствия по подобным делам – не более десяти дней, дело рассматривается без прокурора и адвоката, кассационная жалоба, ходатайство о помиловании не допускаются. Приговор к высшей мере исполняется немедленно.

И заголовок женеvской газеты: «Большевистский террор! Призрак Революции возвращается!»

Точнее, шахматная партия началась!

В вечернем выпуске я прочел описание прибытия Кобы в Ленинград. Оказывается, тотчас после убийства той же ночью он выехал на место преступления вместе с верными Молотовым, Ежовым и Ягодой – руководителями готовящейся расправы. Приехав в Ленинград, Коба на перроне, как написал корреспондент, дал пощечину встречавшему его главе ленинградского НКВД Медведю. И проследовал в Смольный.

Я получил шифрограмму от убитого горем (пишу без иронии) Кобы: «Немедленно приезжай на похороны брата». И вылетел в Москву.

Встретил Коба меня в кабинете. Он только что вернулся из Ленинграда. Сидел, молча подперев голову, сказал – я уверен – искренне:

– После смерти Нади это самая большая потеря. Осиротел совсем. Ни жены, ни друга.

– Но Коба, я ведь тоже друг?

– Тебя, Фудзи, никогда нет рядом, а он... он один заботился обо мне.

Вошел «чекист», так Коба продолжал называть сотрудников НКВД.

– Товарищ Сталин! Товарищ Збарский сообщил, что они готовы начать.

– Да, да. Пусть начинает, – и пояснил мне: – У нас тут новая беда. Какая-то сволочь напала на Ильича. В Мавзолее негодяй швырнул кирпич, разбил стекло. Ты знаешь – я не

люблю мертвых. Посмотри, что там случилось, и доложи. Не удивлюсь, если все эти события связаны. Наши враги повсюду! Нужны быстрые действия, иначе погибнет советская власть...

По дороге в Мавзолей чекист сообщил мне, что покушался на мумию рабочий. Его тотчас расстреляли согласно новому закону.

В Мавзолее в торжественной полутьме суетился возле саркофага один из отцов мумии – Збарский, молодой еврей с копной жгуче-черных волос. Второй «отец» был болен. Того, заболевшего, я знал хорошо. Был он постарше, этакий русский барин, большой, располневший, часто находящийся под мухой...

Включили яркий режущий глаза свет, и впервые я смог всё рассмотреть.

Великолепный саркофаг в бронзовой оправе был украшен инкрустациями в виде красных знамен. Внутри него в гробу лежал Ленин. Он воистину будто спал... Лицо и руки были освещены розоватыми лучами. На зеленом френче – кирпич.

По знаку Збарского медленно поднялась стеклянная крышка. Он осторожно убрал камень с ленинской груди. Оказалось, это уже не первое нападение. Другой рабочий, незадолго до этого, выстрелил в несчастную мумию, после чего покончил с собой...

Я почувствовал: кто-то встал сзади меня.

Старуха с кудельками редких седых волос несчастно смотрела на мумию болезненно выпученными глазами. Это была Крупская. Спросила тихо:

– Вы думаете, нельзя уговорить товарища Сталина? Вы ведь его друг? Это ужасно – лежать на виду у зевак.

Я промолчал.

Збарский, мрачно поглядывая на Крупскую, собирал в саркофаге осколки разбитого стекла. Мумия была смыслом его жизни, и, думаю, он скорее сам лег бы в могилу, чем отдал земле свое творение. Как любил повторять чей-то афоризм Бухарчик: «Человек – ничто, произведение – все».

– Товарищ Сталин интересуется состоянием Ильича, – сказал я Збарскому.

– Все в норме. Но мы проведем профилактический осмотр... И доложим.

Чекист в белом халате привез каталку. Заработали механизмы, и гигантский саркофаг начал подниматься. Ильича выложили на каталку и повернули боком. Френч оказался разрезанным сзади и зашнурованным. Збарский принялся ловко его расшнуровывать.

Крупская плакала. Я поспешил уйти.

Вернулся в кабинет Кобы.

– Старуха плачет.

– Да, все хочет похоронить, – кивнул он. – Не может понять: Ильич по-прежнему на боевом посту. В то время как его соратники оказались предателями и убийцами.

Я с изумлением уставился на Кобу.

В кабинет вошли Бухарин и Молотов.

Коба походил, потом заговорил:

– Первые результаты допросов окончательно показали: Ягода – мудака. Его давно пора гнать! Начал искать убийц среди аристократов, бросился арестовывать священников, дворян, хотел свалить убийство Кирова на классовых врагов. Хотя искать надо было совсем в другом месте.

Молотов привычно молчал. Не выдержал Бухарин:

– Где, Коба?

– Искать надо было среди зиновьевцев. Я ему так сразу и сказал: «Ищи, не то морду набьем». Но уже на первом допросе Николаева... Ежов сообщил мне сегодня... Установлено: мерзавец Николаев являлся ярым зиновьевцем и действовал по их заданию.

Наступила тишина.

– ...Ты хочешь сказать, что Григорий... – в ужасе начал Бухарин и остановился. – Но этого не может быть!

Коба печально посмотрел на него.

Верный Молотов тотчас включился и, заикаясь, произнес монолог:

– Как это не может?! Может! Мы долго терпели их измены. Больше нельзя. Иначе нас ждет катастрофа Французской Революции. С этими мерзавцами и иллюзиями по их поводу давно пора расстаться. И второе. Ягода явно не справляется, значит, ему требуется помощь. – И после паузы добавил: – Разве только... он хочет НЕ справляться. Обывательский трепет перед «священными коровами». На этом посту нужен беспощадный и молодой коммунист.

Коба, убитый горем, долго молчал.

– Коба, – продолжил Молотов, – ты должен взять на себя все это трудное дело, мы тебе поможем.

– Да, – сказал он, – Ягода опоздал с разоблачением этих выродков как минимум на два года... Если бы взялся за них вовремя, у нас был бы живой Киров и многое было бы по-другому...

Так начинался этот, как нынче говорят американцы, триллер. Великолепный и очень сложный, задуманный Кобой.

Хоронили Кирова в Москве, в бывшем Дворянском собрании, именуемом нынче Домом союзов. Все центральные улицы столицы были перекрыты для прохожих грузовиками, отрядами красноармейцев и нашими сотрудниками в штатском. Всем было приказано находиться в ожидании нового нападения врагов Революции. Все пребывали в напряжении, в боевой готовности...

Прожектора Колонного зала Дома союзов освещали тонущий в цветах и знаменах большевистский, красный, кумачовый гроб...

Коба попросил меня постоять среди его охраны, пока он будет прощаться с «братом Кировым». Он, как всегда, заигрался в свою придумку – в опасность нападения коварных зиновьевцев. Так что я с густой бородой простоял всю церемонию рядом с гробом, стараясь не смотреть на желтое заострившееся лицо покойника. У изголовья гроба застыли три женщины – жена и две сестры.

О сестрах рассказывали трогательную историю. Обе – сельские учительницы из глуши. Совсем недавно они увидели в газетах портрет со знакомым лицом. С изумлением поняли, что это их брат Сережа Костриков, исчезнувший из дома много лет назад. Их беспутный, не желавший учиться Сережа... теперь – вождь Ленинграда Сергей Миронович Киров (Киров – его революционная кличка, ставшая фамилией). Они тотчас списались с ним и собрались приехать к нему, но тут... Они увидели своего Сережу впервые после Революции – уже в гробу! Все это поведал мне Коба, не оставивший их своими щедротами. Им была выделена большая пенсия, квартиры, дачи и прочие блага. Как положено восточным владыкам, Коба умел и любил награждать.

Наконец началась моя миссия – появился Коба. Вместе с ним вышли Молотов, Бухарин и, кажется, Калинин. Тотчас погасли прожектора (для безопасности).

Коба поднялся на ступеньки к гробу. Лицо его было воистину скорбно. Он наклонился и поцеловал в лоб «брата Кирова». Слезы – на лицах трех женщин, стоящих подле.

На следующее утро я узнал, что убийца Кирова Николаев уже подписал признание: «убил Кирова по заданию троцкистско-зиновьевской группы».

Николаев тотчас был расстрелян. Следом расстреляли его прежнюю жену – любовницу убиенного Кирова.

Ночью я присутствовал на совещании в Кремле. Коба (темные круги вокруг глаз от бессонницы) зачитал официальное сообщение НКВД о раскрытии гигантского заговора, во главе которого стояли Троцкий, Каменев, Зиновьев и многие их сторонники. Последовал град имен вчерашних вождей Революции, старых партийцев, друзей Ильича!

– Мне стыдно и страшно читать это вслух, – сказал Коба. – Хорошо, что Ильич не дожил до этого позора. Оказывается, ими созданы террористические группы во всех наших крупных городах. Руководство НКВД образовало секретное управление для проведения следствия над этими людьми. Я буду лично наблюдать за следствием. Я хочу, чтоб вы поняли: разговор идет о чести этих людей. Но отнюдь не о чести партии. Партия остается незапятнанной. Более того, «очищаясь, партия укрепляет себя», – так учил нас великий Ильич...

Руководить следствием были назначены Ягода и Ежов. Когда все разошлись, Коба велел Ежову задержаться. Ягода вместе со всеми нами уехал домой.

## Гибель отцов Октября

Перед моим возвращением в Женеву Коба принял меня ночью в Кремле.

– Они оказались повсюду... Весь государственный аппарат, вся партия тронуты этой страшной ржавчиной!

В это время вошел начальник охраны Паукер с бумагой в руках. Просительно посмотрел на Кобу.

Тот усмехнулся милостиво:

– Ну ладно, давай.

И лицедей необычайно похожим на Зиновьева голосом начал смешно читать письмо Зиновьева:

– «Дорогой товарищ Сталин! Сейчас (16 декабря в 7.30 вечера) тов. Молчанов с группой чекистов явились ко мне на квартиру и проводят обыск. Я говорю Вам, тов. Сталин, честно: с того времени, как я прекратил участие в оппозиции, я не сделал ни одного шага, не сказал ни одного слова, не написал ни одной строчки, не имел ни одной мысли, которую должен был бы скрывать от партии, от ЦК и от Вас лично. Я думал только об одном: как заслужить доверие ЦК и Ваше лично, как добиться того, чтобы Вы включили меня в работу... Клянусь Вам всем, что может быть свято для большевика, клянусь Вам памятью Ленина. Умоляю поверить моему честному слову. Потрясен до глубины души...»

Судя по мастерству, Паукер передразнивал Зиновьева не в первый раз.

Смешливый Коба задохнулся от смеха.

Я хорошо представлял, что было с Зиновьевым, когда его арестовывали. Он был невероятный трус и паникер. Но трус очень жестокий.

Помню, как-то в двадцать четвертом году в кабинете Кобы Зиновьев обсуждал с ним, как следует топить Троцкого и как использовать молодого Кагановича.

И я рассказал тогда удивительную шутку Истории:

– Вот Каганович, вчерашний сапожник, теперь работает у нас как бы министром. А знаете, кто сейчас работает у нас сапожником? Один ленинградский чекист недавно показал мне новехонькие сапоги и спросил: «Знаешь, кто тачал? Князь Голицын – последний царский премьер-министр! Он, оказывается, остался в России. Голодает, освоил профессию сапожника...»

И я услышал голос Зиновьева:

– Как?! Этот романовский служка спокойно топчет улицы и парки революционной столицы?!

Уже потом я узнал: по приказу Зиновьева старика расстреляли.

Отсмеявшись, Коба вдруг сказал мне:

– Возьми, тебе пригодится. – Он забрал у Паукера листок зиновьевского письма и протянул мне.

– Я не понял, Коба?

– Ну почему ж, ты все понял. Ты ведь продолжаешь все записывать? Впрочем, тебе не нужно это письмо, ты и так все запомнил. – И пояснил Паукеру: – У нашего Фудзи феноменальная память, я ему в семинарии очень завидовал! – Добавил, обращаясь уже ко мне: – Я в очередной раз предупреждаю, Фудзи: прекрати это делать! А то товарищу Ежову, – (Ягоду он почти перестал упоминать), – придется забрать эти записи... после того, как ты очутишься в совсем не хорошем месте, – и засмеялся. – Шучу... Смотри, Паукер, Фудзи побледнел.

Я побледнел, потому что хорошо знал своего друга...

Когда я уходил, Коба заметил:

– Как там пишет Григорий – «Потрясен до глубины души»? Не надо бы ему спешить. Вся глубина потрясения у него еще впереди...

Что же касается письма Зиновьева – Коба был прав. Я запомнил его дословно. Придя домой, как обычно, все записал в тетради.

Откуда Коба знал, что я продолжаю вести записи? Вычислил я это быстро... Конечно, это была она – смазливая уборщица, с которой я, глупец... Все произошло в прошлом месяце.

Когда я вошел, она мыла пол в кабинете, приподняв юбку. Великолепные длинные молодые ноги. Услышав мои шаги, обернулась и радостно засмеялась. Распрямылась, бросила тряпку. Весело взглянула мне в глаза, сказала:

– Не побрезгуете?

И случилось.

В тот день она затеяла большую уборку. Я помазал обложку Дневника особой краской. Сказал ей, что ухажу надолго и она может прибираться не торопясь. Однако вернулся очень быстро. Все, как предполагал... Она в ванной стирала полотенце – смывала с него след краски, оставшийся после мытья рук. Все-таки непрофессионалка. Конечно, я сделал вид, что не заметил. Разоблачать ее было глупо – назначат новую. Лучше знать. К тому же... хорошо мне было с ней.

Прежний Дневник я оставлял для нее в столе... Начал новый, который спрятал надежно.

Вернувшись из Женева, я застал финал следствия по делу Зиновьева и Каменева.

И был потрясен, когда узнал от знакомого следователя, чего добивался от них Коба. Они должны были показать, что по заданию Троцкого готовились убить Кобу и всех его верных соратников. И совершить «дворцовый переворот». Киров стал их первой жертвой!

Коба предложил отцам Октября *самим объявить себя убийцами* и предателями Революции. Они с негодованием ответили, что Коба, видимо, сошел с ума...

Последовал окрик Кобы. Ягоде было велено не превращать камеры в дома отдыха. Ягода пытался избежать пыток – ведь это были вчерашние вожди партии, близкие друзья Ленина и его хорошие знакомые. Он сам уговаривал их, умолял подписать признание. Конечно, тщетно!

В городе стояла нестерпимая жара. Единственное, на что отважился Ягода, – приказал сильно топить в их камерах. Но они по-прежнему с негодованием отказывались подписывать и требовали встречи с Кобой.

Коба вызвал Ягodu.

– Скажи нам, товарищ Ягода, сколько весит наша страна?

Тот изумленно глядел на Кобу. Коба повторил.

– Что молчишь, товарищ Ягода? Сколько весят все заводы, фабрики, самолеты, поезда, флот, население?

– Я не знаю, товарищ Сталин.

– Ты должен защищать безопасность страны. И оказывается, не знаешь веса страны, которую защищаешь? Странно!

– Это из области космических цифр, – пробормотал Ягода.

– Правильно. Поэтому никогда не говори мне нелепость, будто какой-то жалкий человек может противостоять давлению космического веса целой страны. Это значит: или ленишься, или не умеешь, или... не хочешь!

Ягода побледнел.

Прошла неделя, и в кабинете Кобы я стал свидетелем исторической сцены.

Вначале мой друг расхаживал по кабинету и беседовал со мной в своей манере: спрашивал меня и сам себе отвечал, совершенно не интересуясь моими ответами. Точнее, попросту размышлял вслух, проверяя на мне свою логику.

– Ты все удивляешься: за что я их? Жалеешь сукиных детей... А как ты думаешь – они меня не убили бы, если б могли? Убили бы! И ты знаешь, что убили бы... а теперь я их убью. Ужасаешься, Фудзи? Рано! Рано ужасаетесь! – заверил он с ненавистью. – Ужасаться тебе и твоим дружкам придется позже. Ты про съезд не забыл?.. «Съезд – кто кого съест». Так вот, и я не забыл, как вы хотели убить Кобу... – Он опомнился и сказал, странно усмехаясь: – Прости, Фудзи... конечно, ты не хотел, – и продолжал свое: – Порука... у вас у всех – круговая порука. Между нами говоря, я все думал, почему так долго не выходит с Зиновьевым? Ведь он трус... Я полагал, будет куда быстрее... – (Так вот почему он с них начал!) – Нет, смельчаком этот господин был, только когда требовалось убивать беззащитных! Трус и сукин сын. Я помню: когда белые шли на Петроград, Ленин, зная этого господина, послал меня к нему на подкрепление. Я застал его в панике, он в бездействии и страхе валялся на диване. Военные так и звали его – «товарищ Паника»... Да и Каменев, типичный интеллигент – слабый в несчастье. Но почему до сих пор сопротивляются? – Он походил по кабинету и проговорил отдельно: – Потому что Ягода и вы, старые чекисты, никак не можете избавиться от уважения к этим мерзавцам. Бывшие вожди для вас – по-прежнему вожди. Ягода явно с ними «деликатничает». Нет, это не Зиновьев меня подводит... это подводит Ягода. – Он посмотрел на меня. – Ответь что-нибудь!

– Но что скажет страна? Знаменитые партийцы-убийцы?

– Запомни фразу товарища Козьмы Пруткова: «Люди – как колбаса, начиняй их чем хочешь»... Сделаю! Сам! Все сам! Что ж, между нами говоря, товарищ Сталин привык честно и до конца исполнять сам свою работу!..

В это время в кабинет вошел наш с Кобой друг Авель Енукидзе, за ним – Ежов.

– Привезли, – сказал Ежов.

– Ну веди наших боевых товарищей, – усмехнулся Коба.

Авель сел поодаль, у дверей, рядом со мной. Коба остался за столом...

«Чекист» принес чай и кофе. А потом в кабинете появились... Каменев и Зиновьев! Как-то буднично, без охраны, будто пришли на заседание Политбюро!

– Садитесь, товарищи, – очень радушно пригласил Коба.

Они сели за стол, перпендикулярно приставленный к его столу. Рядком – как сидели прежде на заседаниях...

Я отметил: Ягоды снова не было, но присутствовал Ежов.

Кабинет освещался настольной лампой, в полутьме виднелась только борода Каменева...

Помолчали. Коба щелкнул выключателем под столом, и зажглась люстра на потолке. Но лица Каменева я по-прежнему не видел. Он сидел, низко опустив голову, скрестив руки на груди. Помню необычайно изможденное, серое лицо Зиновьева с мешками под глазами. Он страдал астмой и время от времени, задыхаясь, хватал воздух широко открытым ртом.

– Товарищи из ЦК просили меня изложить позицию ЦК... Тебе не душно, Григорий? – спросил заботливый Коба.

– Уже нет, товарищ Сталин, – с готовностью ответил Зиновьев (еще вчера называвший его Кобой и Иосифом). Он был счастлив: Коба назвал его по-старому – «Григорием».

– Надеюсь, следователи вам объяснили, что ЦК просит вас помочь партии нанести сокрушительный удар по Троцкому и его банде? Мне смешно объяснять двум выдающимся теоретикам партии азбучную истину – как это важно. Я хочу лишь доверить вам информацию, почему это *сейчас* особенно важно. Как сообщает наша разведка, Гитлер сумел всего за год закончить перевооружение Германии. В своей книге «Майн Кампф» он объявил главной целью

захват жизненного пространства на Востоке. Здесь сегодня присутствует наш разведчик товарищ Фудзи. Его агенты сообщают, что уже весной следующего года Гитлер подготовит военное нападение на Советский Союз. Об этом же сообщает наша контрразведка, перехватившая разработки германского командования. В этой обстановке мы должны пресечь антисоветскую пропаганду, которой занимается за границей Троцкий. Любой ценой в *преддверии* этого удара нам необходимо оторвать международный пролетариат от Троцкого и его контрреволюционной организации. Нужно восстановить единство пролетарского движения. Только мощный антивоенный фронт трудящихся всего мира защитит Республику Советов. Вот почему товарищи чекисты просили вас помочь нам... вот почему я вас позвал сегодня.

– Мы помогли вам, товарищ Сталин, – все так же не поднимая головы, сказал Каменев. – Вы предложили нам взять на себя моральную ответственность за убийство Кирова. Мы согласились. Благодаря чему вы тотчас арестовали множество наших сторонников. Теперь вы хотите, чтобы мы предстали бандитами, и ты... – (вдруг на «ты»!) – смог бы спокойно расстрелять и нас, и всех остальных?

– Когда-то наши товарищи Каменев и Зиновьев отличались ясностью мышления, способностью подходить к вопросам диалектически. Сейчас наши товарищи рассуждают как обыватели... самые отсталые обыватели!

Как же загорелись их глаза, когда «азиат» назвал их «*нашими товарищами*»!

Коба продолжил:

– Вы внушили себе, будто мы организуем судебный процесс, чтобы иметь право вас расстрелять? Это неумно! Разве мы не можем расстрелять вас без всякого суда, если сочтем нужным? Бояться нам некого... Вы уже слышали, что происходит по всей стране на собраниях рабочих, крестьян и интеллигенции? Они не просят – требуют расстрелять вас, говоря их словами, «как бешеных собак». Так что я хочу, чтоб вы учли. Если вас не расстреляли, когда вы активно боролись против ЦК и устраивали демонстрации, почему ЦК должен расстрелять вас после того, как вы, жертвуя честным именем, поможете в борьбе против Троцкого? Этим вы заплатите за старые грехи перед партией. Грехи передо мною я вам давно простил... во имя наших прошлых отношений. Кстати, о прошлом, Лев Борисович... – обратился он к Каменеву (обращение по имени считалось у нас в партии признаком близких отношений). – Возвращаю с благодарностью, – и он протянул ему... те самые теплые носки!

Как заулыбался... нет, не Каменев, а Зиновьев! Сентиментальный Зиновьев просветлел, на глазах у него появились слезы восторга! Он понял: спасен! Зиновьев был, как говорится, «художественной натурой». Он очень хотел поверить Кобе... и поверил! Каменев же молча взял носки. Он хорошо знал Кобу.

– Итак, – продолжал Коба, – подытожим. Судебный процесс будет направлен не против вас, а против Троцкого, заклятого врага нашей партии. Что же касается ваших воистину тяжелых признаний, скажу так: обыватель дорожит своей честью, партиец – только пользой партии. «*Мы – ничто, партия – все!*» – (Похожий лозунг висел в немецких концлагерях: «Вы – ничто, народ – всё».) – Так учил нас с вами Ильич. Помогите же, товарищи, помогите накануне интервенции!

Он замолчал. Они начали шепотом совещаться. Коба, как бы помогая им, тактично громко заговорил с Ежовым о каких-то текущих делах... А потом увел его в комнатку рядом с кабинетом, где обычно отдыхал. Там стояли диван, шкафы с книгами, огромный глобус. Но дверь он оставил открытой.

Наконец Каменев встал, объявил, что они приняли решение.

И Коба как-то торопливо, опережая Ежова, выскочил из комнатки.

Каменев, все так же стоя, от имени обоих сказал, что они согласны предстать перед судом и подтвердить... Здесь он помялся, потом добавил: *требуемое*.

– Если нам обещают, что никого из старых большевиков, наших соратников, не ждет расстрел. И что их и наши семьи не будут подвергаться преследованиям.

Коба улыбнулся:

– По-моему, у вас не было сомнений, что мы – члены ЦК – являемся учениками и последователями Ленина. Во всяком случае, так вы оба говорили на съезде... и я верил в вашу искренность.

Они промолчали.

– Ну разве могут последователи Ильича пролить кровь старых партийцев, ленинских друзей, какие бы тяжкие грехи за ними ни числились? Какие гарантии еще вам нужны? Если вопросов нет, будем считать наше соглашение состоявшимся. – И он деловито попрощался.

Каменев направился к двери, за ним – Зиновьев. Уходя, Зиновьев обернулся, поискал глазами Кобу... Но тщетно: Коба, не поднимая головы, сидел за столом, углубившись в бумаги. В молчании они оба покинули кабинет.

Когда они ушли, Коба приказал Ежову:

– Чтоб сегодня же у них был душ, чистое белье. Книги, какие попросят. К Зиновьеву – хорошего врача, у него явно разгулялась астма... На процессе они не должны выглядеть изнуренными. Своих держиморд научи обращаться соответственно со старыми членами партии. Если они будут недовольны, расстреляем твоих. Короче, создай санаторий заслуженным товарищам. Ну все, свободны. Да, забыл... Как будешь формулировать приговоры?

– Я думаю объявить им сначала все-таки высшую меру. Уже потом – «учитывая их заслуги в революционном движении, заменить расстрел...»

– Какой мудака! – мрачно оборвал Коба. – И этот не может забыть! Ягода номер два! Когда ж избавимся от идолопоклонства?!

– Но вы же сказали, товарищ Сталин... – промямлил Ежов.

– Это не я сказал. Это жалостливый старый партиец во мне сказал! А ты – закон! Молодая поросья партии!

Ежов ушел, мы с Авелем сидели молча. Мы оба хорошо знали Кобу. Коба их ненавидел. А если он ненавидит, то пока не убьет... не только их самих, но и всех родственников до пятого колена... последнюю слепую прабабушку, он не успокоится. Я молчал именно потому, что хорошо знал Кобу... и Авеля.

Я был уверен: Авель не выдержит, заговорит. И он заговорил по-грузински:

– Коба, то, что ты задумал, нам не нравится...

– «Нам»? Он, по-моему, молчит. Так, Фудзи? – Коба яростно глядел прямо мне в глаза. Я... кивнул.

– Говори за себя, Авель.

– Мне не нравится. Мне кажется – довольно! Прости их, Коба, ведь мы все старые большевики.

– Я как-то уже говорил вам, товарищ Енукидзе, что меня смущает этот термин – «старый большевик». Большевик всегда должен быть молодым и... новым. Новейшим! И если он перестал быть таковым, пусть уходит на покой. Иначе – зашибем! – Вдруг он заорал: – Запомни, мудака! Фудзи молчит не потому, что боится. А потому, что помнит: кто не с Кобой – тот против Кобы! Ты же забыл, что такое друг! И вообще – чего расселись? Пошли вон, старые большевики! На хуй – оба!

Прошла неделя. Каково же было мое изумление, когда Коба мне сказал:

– Представляешь, Зиновьев упомянул Бухарчика... – (назвал Бухарчиком, как нежно звал того Ильич), – будто Николай с ними сотрудничал. – И уставился на меня.

Я молчал. Он продолжил:

– А Каменев про Енукидзе поведал... Оказывается, он тоже был с ними. Потом, правда, попросил вычеркнуть. Неужто все они в одном клубке? – И опять пристальный взгляд – на меня. – Неужели и Абель? Неужели возможно? Но если возможно, значит, не исключено? Екатерина говорила: «Лучше помиловать девять виновных, чем казнить одного невинного...» Но мы – революционеры, окруженные врагами. Мы единственная в мире крепость социализма, которую я стерегу, и я за нее отвечаю... И с уверенностью говорю тебе, Фудзи. – Он зашептал: – У нас, к сожалению, должно быть *наоборот*. Для начала Авеля погоним из Москвы поганой метлой. Секретарь ВЦИК – это не для него. Отправим его на родину. Пусть поработает Председателем Закавказского ЦИК, пока НКВД разберется... – Желтые глаза вновь буравили меня. В них я прочел его любимое: кто не со мной, тот против меня.

Я все молчал. Он улыбнулся.

– Товарищ американский посол устраивает бал... Решил показать нам шик... Погляди, *что* там будет и, главное, *кто* там будет... из наших мудаков. Твой друг Бухарчик... – (я был с ним едва знаком!) – наверняка припрется. Уж послушай, что он там наговорит. Точнее, что они все наговорят.

Он брезгливо протянул мне приглашение в посольство на имя какого-то Муравьева.

...Все последнее время он предлагал мне быть заурядным стукачом. Но я старался не понимать этого.

## Бал у сатаны

Это и был тот бал, который они так долго готовили. По Москве шел слух, что затевалось нечто невероятное...

...В холле уже танцевали. Как тогда в особняке НКВД, здесь была волнующая полутьма, и лучи прожектора, все время меняя цвета, выхватывали из темноты кружащиеся пары.

Надо признать, особняк был декорирован фантастически. Холл украшен живыми тюльпанами. Слышался шорох крыльев – по нему порхали... настоящие птицы! Взлетали над танцующими, садились на люстры. Двери в залу были распахнуты. У входа – русские народные костюмы: музыканты, одетые в алые косоворотки и лакированные сапоги, удало выворачивали гармони. По углам огромной залы – настоящие высокие березы в кадках. Около них – клетки, в которых испуганно блеяли козы, заливались, кукарекали куры. В сарафанах и кокошниках сутились рядом «птичницы». Вся эта декорация называлась «Россия колхозная» (поклон в сторону Кобы). Под потолком над колхозной, льстиво изобильной Россией летали, бились о стены ошалевшие птицы.

В центре столовой – накрытые столы. Между ними неторопливо разгуливали вперевалку огромная медведица и её детеныш, маленький Мишка. Пара была величественно спокойна. Здесь же, стараясь держаться от них на расстоянии, прохаживались не желавшие танцевать гости.

Вдруг за спиной я услышал русскую речь. Обернулся и увидел... Паукера и Ворошилова. Они не обратили на меня внимания – не узнали.

– А вот и наши приглашенные пожаловали! Конечно, цвет оппозиции – не могли не посетить капиталистов, – сказал Паукер.

В зал вошел Бухарин в старомодном сюртуке. За ним – Радек в туристском костюме, желая тем самым, видимо, эпатировать капиталистов.

– ...И наш Наполеончик... Смотри, оказывается, они все дружат, – весело объявил Паукер.

В зале появились два маршала, оба в мундирах и в орденах, – красавец Тухачевский и кряжистый Егоров, следом – застенчиво крутивший ус Буденный. Потом один за другим вошла театральная элита. Стремительно пронесся седой петушиный хохолок – Мейерхольд. Тяжело ступал мужиковатый Немирович-Данченко и за ним, почти танцую, – элегантный, фракный Таиров.

Все были без жен и почему-то столпились – группа военных и группа интеллигенции.

– Ильич любил называть интеллигенцию «блядями», – веселился Паукер.

– Они и есть, – мрачно ответил Ворошилов.

В этой группе фраков бросался в глаза своим траурно-черным костюмом высокий мужчина с копной серых, зачесанных назад волос. Он часто беспокойно, нервно озирался. Рядом стояла черноволосая красавица в белом платье с бледно-розовыми цветами. Будто успокаивая, она поглаживала его руку.

– Кто это? – спросил Ворошилов.

– Булгаков, писатель. Контра. А жена у него – такую стоит... – (Паукер был гомик, но для маскировки изображал из себя сексуального маньяка.) – Модный был раньше, контра, теперь не у дел. «Дни Турбиных» во МХАТе не видел? С душком пьеса. Но товарищу Сталину понравилась игра актеров... Однако поиграли – и хватит! Сняли пьесу! «И прослезился», – непонятно в связи с чем добавил Паукер и захохотал. (Только потом я узнал, что это была знаменитая реплика из «Дней Турбиных».)

В это время часы пробили полночь – и началось. Проектор послал на потолок изображение Луны. Луна стала гаснуть – как бы наступал рассвет. Сняли покрывало с петухов, и те

дружно запели. Ударили по кнопкам гармонисты. Взорвался звуками джаз в холле. Один из петухов от страха взлетел и приземлился на тарелку с утиным паштетом...

Веселье быстро набирало уже какие-то опасные обороты. Сильно принявший на грудь маршал Егоров обнимал медвежонка, поил его шампанским через соску. Непривычного к такой забаве Мишку вырвало прямо на его мундир.

– Капиталистическая сволочь! – вопил обиженный Егоров. – На советский маршалский мундир!..

Я шел к выходу через толпу, в которой пили, танцевали и веселились будущие наши мертвецы. Проходя мимо Паукера, задержался ненадолго. Тот увлеченно проводил разъяснительную работу среди театральной элиты:

– Сколько денег вбухано... Считайте сами: животные напрокат из Московского зоопарка, тюльпаны из Амстердама, паштет из Страсбурга – утром самолетом, и джаз-бэнд – опять же по воздуху из Штатов, плюс наш цыганский оркестр с танцовщиками. Все в какую копеечку? Хотят, чтоб мы сказали: «американский размах». А мы ответим: «Капиталистическая агитация, тогда как трудящиеся живут там впроголодь!»

...Хорошо «набравшийся» Буденный с удалым свистом, гремя орденами, пустился вприсядку.

На следующий день Коба спросил меня:

– Ну, что вынюхал?

Меня резанула фраза, но я ответил:

– Ничего особенного, Коба. Веселились, пили. Буденный сплясал трепака.

– Да, Ворошилов быстро ушел, как и мой друг товарищ Фудзи, который не захотел выполнить порученную ему работу... Зря... Между тем товарищи Радек, Бухарин и Тухачевский вместе с Егоровым образовали теплую компанию и полезно поговорили. Очень интересный был разговор, но сообщили о нем мне другие. Кстати, твой друг Енукидзе вчера придумал паясничать в Политбюро. Заявил, что он не достоин быть Председателем Закавказского ЦИК: «Если меня Коба снял за то, что я не справился в Москве, почему вы думаете, что я справлюсь в Тифлисе? Как говорится, «возьми Боже, что нам в Москве негоже». Зачем оскорбляете наш родной с Кобой край?» Короче, издевался как умел и попросил ЦК назначить его на другую, более скромную должность. Он думает, мы будем с ним нянькаться, настаивать. Нет, мы удовлетворим...

Так что бедный Авель не успел доехать до Тифлиса. Коба переназначил вчерашнего кремлевского боярина руководить в Харькове какой-то конторой. Но переживал. Ходил мрачный...

Помню, вскоре я приехал в Тифлис к тетке. Разыскал Енукидзе. Оказалось, он не спешил ехать в Харьков, отсиживался на даче Орджоникидзе.

– Проси прощения! Коба очень переживает разлуку.

– Я рад, что сказал ему, но я не рад, что ты промолчал.

«Я жить хочу, а ты, по-моему, не хочешь», – я не произнес этого. Только спросил:

– Ты почему не едешь в Харьков, Авель?

– Не вижу смысла. Он все равно не успокоится, пока не уничтожит... Лучше здесь поживу. Мне уже... недолго.

В ожидании сенсационной расправы с вождями Октября страна сошла с ума в своей любви к Кобе. Я уже повидал начало такой же иступленной любви в Германии. Страх плюс пропаганда равняется «искренняя народная любовь» – это изобретение нашего века.

По всей стране уже шли массовые аресты. Люди хотели любить Кобу, так было безопаснее. Они хотели искренне лгать себе, чтобы продолжать уважать себя. Да, Коба прав: люди, как камешки в океане, – легко обкатываются.

Весной 1935 года открыли первые станции метро – еще одна великая победа!

После комнатух-сот в коммуналках люди спускались в настоящие мраморные подземные дворцы. Люстры, позолота, бронза, гигантские мозаичные панно...

Умненькая дочь Светлана написала приказ своему секретаришке: «Хочу покататься на метро». Он велел собираться. Тотчас был вызван возглавлявший строительство метро нарком Лазарь Каганович, именем которого щедрый Коба назвал эти подземные дворцы.

Началась игра. Каганович побледнел и заявил:

– Теперь, когда раскрыты замыслы кровавых троцкистов-зиновьевцев, можно ли так рисковать товарищу Сталину? Сколько их еще на свободе? Как член Политбюро я обязан созвать совещание...

Коба, как всегда, подчинился дисциплине. И Каганович вызвал Молотова, Ягоду, Паукера и меня (все знали о моем участии в похоронах Кирова).

Я приехал в разгар совещания. Все не уставали твердить Кобе об опасности, ведь изменники оказались повсюду. Каганович предложил спуститься в метро после полуночи, когда оно закроеется для публики.

– Ночью моя дочь спит, – усмехнулся бесстрашный Коба. – Мы пойдем смотреть сейчас. Я подчиняюсь приказам Хозяйки. Да и политически это важно.

Каганович сказал:

– А если наклеить Фудзи усы и сбрить бороду и он поедет вместе со Светланой?

Коба мрачно взглянул на Кагановича, тот испуганно замолчал. Тогда Паукер с Ягодой предложили временно закрыть метро и очистить метрополитен от публики.

– Нет, дочь моя должна воспитываться, как все дети. Все дети ходят в метро со своими родителями, и я хочу. И вообще, мы ведь все её секретаришки. Приказ есть приказ, должна быть дисциплина, – шутил бесшабашный смельчак Коба.

Начали собираться. Коба заговорил со мной тихо по-грузински:

– А не назначить ли тебя, Фудзи, официально моим двойником? Худоват ты, конечно, на морду, но это поправимо. И волосы у тебя на голове по-еврейски выются, но ничего, разгладим. Жаль, глаза трусливо бегают, их не поправишь... – и прыснул в усы. Он был в хорошем настроении.

Эскорт Светланы составляли няня и родственники обеих жен Кобы: жена брата его первой жены, бывшая оперная певица Мария Сванидзе, и жена брата второй жены, Нади, – Женя. Та самая рослая красавица блондинка, с которой у Кобы... Мне даже показалось, что всё представление он устроил для нее, хорошо зная, что должно произойти в метро...

То, что должно было произойти, организовали Паукер, Ягода и я.

Собирались они два часа, и за это время сотни агентов наполнили станцию «Охотный ряд», изображая публику. Второпях мы немного подкачали с одеждой – вся «публика» была в одинаковых темных костюмах!

Паукер с Ягодой, прикрывая собой Вождя, вошли в метро первыми. За ними последовал сам неустрашимый Коба. За Кобой, визжа от восторга, – Светлана с няней, Марией Сванидзе и Женей Аллилуевой. Потом мы – я, Каганович и привычно молчаливый Молотов. Когда спустились по эскалатору, толпа агентов кинулась приветствовать Вождя. Исступленно кричали «Ура!», «Да здравствует товарищ Сталин!». С восторгами немного переборщили – снесли бронзовый светильник...

После, уже наверху, он победоносно посмотрел на меня.

Я только развел руками, потрясенный любовью народа.

Он до конца играл в игру. Вернувшись, сказал почти виновато, обращаясь к Жене:

– Что делать, России нужен Бог и царь. Без царя наш народ не может, – и печально вздохнул.

Но я уверен: будь там настоящая толпа – восторга было бы еще больше. Такого же, какой читался в восхищенных глазах Жени.

...Бедная Женья и в страшном сне не могла увидеть свое будущее, о котором речь впереди.

## Прощание

Накануне нового, тридцать шестого, года я застал его за чтением писем от заключенных вождей.

– Вот Зиновьев пишет часто, а Каменев вообще не пишет. Не хочет разоружиться... Зиновьев благодарит, – и он прочел: – «В тюрьме со мной обращаются гуманно, меня лечат...» Видишь, выполняются договоренности. – Коба усмехнулся и продолжил читать письмо: – «Но я стар и потрясен. За все эти месяцы я состарился лет на двадцать. Помогите. Поверьте. Состояние мое очень плохое. Горячая просьба издать мою книгу, написанную в ссылке... Писал ее кровью сердца. И еще, если смею просить о семье своей, то особенно о сыне. Вы знали его мальчиком. Он талантливый марксист с жилкой ученого. Помогите им. Всей душой теперь ваш...» Видишь, «всей душой» теперь мой, а прежде – чужой... Как выступить – мой, как тайно голосовать – опять чужой. Выпусти его – и все начнется сначала, но зато сейчас всей душой мой, – и, усмехаясь, еще раз *медленно* прочел письмо.

Зачем? Думаю, он понимал, что я продолжаю записывать. И, зная мою память, хотел, чтобы жалкое угодливое письмо врага сохранилось. Чтобы никто не мог сказать, что он их пытал. Мой друг очень заботился об истории.

Помню тридцать первое декабря тридцать пятого года – тот последний Новый год, когда мы собрались все вместе на квартире Кобы. Моя жена умудрилась заболеть гриппом (она всегда заболела накануне подобных посиделок), и я снова пришел один.

Кремль очень изменился. Охрана – повсюду, за каждым поворотом. Было ощущение, что они стоят непрерывной цепью вплоть до его квартиры.

Пришли Сванидзе. Милый Алеша, все такой же красавец с голубыми глазами, орлиным носом, правда, уже с седыми волосами... Недавно Коба определил его одним из руководителей в Государственный банк. Его жена Мария – постаревшая знойная еврейская красавица, в прошлом – оперная дива. Самое смешное – на пятом десятке она влюбилась в Кобу и преследовала его влюбленными глазами. Всё это невероятно злило Алешу. Она была в вечернем платье, диковатом среди весьма скромных нарядов остальных дам. С ними – сын, названный революционно – Джонрид.

Присутствовало всё наше грузинское «кремлевское» землячество – Серго Орджоникидзе, Нестор Лакоба, приехавший из Абхазии, все с женами. Был и... Авель Енукидзе! Коба вызвал его из Харькова. Короче, он собрал всех. Мы, глупцы, решили, что произошло невероятное: Коба простил! Мы еще не знали его любимого обычая – *поцеловать перед, обнять перед... Обнять «на дорожку»*... Почти всем приглашенным очень скоро предстояла эта последняя дорожка...

Русскую часть гостей составляли супруги Аллилуевы – Павлуша и Женя. Она была великолепна в простом черном платье, облегавшем сильное тело. Высокая, длинноногая, загорелая и гордая... Все говорили ей незамысловатые комплименты по поводу загара. Коба смотрел на нее хмельным взглядом...

После боя часов на Спасской башне и праздничных тостов с пожеланиями счастья в новом году Коба встал из-за стола, подошел к граммофону, поставил пластинку (у него была гора пластинок). И объявил:

– Все танцуют!

Помню, Серго пригласил Женю, Нестор Лакоба – свою жену. Алеша Сванидзе – жену Марию, я – жену Серго.

Муж Жени Павлуша как-то потерялся, не танцевал, сидел в сторонке. Рядом с ним уселся Авель Енукидзе, молчавший весь вечер.

Коба тоже не танцевал. Он громко обратился к Авелю:

– Ты посмотри, какая красавица жена Нестора... И жена у Серго тоже хороша. А Мария какова! В каком великолепном платье! Должно быть, иностранное, товарищ банкир, видно, не пожалел денег. – Коба хитровато прищурился и посмотрел на Женю. – А вот Женя... Недаром ее называют «розой новгородских полей». В отечественном платье – но как оно на ней сидит!.. Жене, – сказал он, глядя все теми же хмельными глазами, – надо рекламировать платья нашего родного Москвошвея...

Авель ничего не ответил, только усмехнулся.

Я первый раз видел Кобу в роли женского комплиментщика. Он был неуклюж в этом качестве, как и все мы, но... Женя залилась краской!

Пластинка закончилась. И тогда он запел любимую всеми нами «Сулико». Как бывало в юности, следом вступил я, за мной – остальные. Мы пели эту печальную песню на языке своей маленькой родины. На наших глазах и на глазах Кобы были слезы...

Когда закончили, он налил бокал и произнес торжественно:

– Разрешите мне выпить за Надю.

Все молча подходили к нему с бокалами и обнимали его. Авель впервые тоже подошел к нему и обнял.

Потом Коба в очередной раз заставил мужчин пригласить дам. Танцевал даже Павлуша со своей Женей.

В сторонке оставались Коба, я, Авель и Мария.

Мария сказала мне:

– Как же он изменился после смерти Нади! Раньше был мраморный герой, железный человек. Насколько стал мягче, добрее. Он так одинок, особенно с момента гибели Кирова. Вы уж его не бросайте. Ему ведь не с кем поговорить в семье. Анна... – (сестра покойной Нади, я плохо ее знал), – она добрая, но такая убогая. И Павлуша тоже не блещет... Я все думаю: как трудно Иосифу его видеть, ведь это он подарил Надюше тот пистолет! Иосифу, пожалуй, интересно только с Женей. Она всегда горит энергией, так живо интересуется всем...

И тут до меня дошло! Ну конечно же! Надежда застрелилась из пистолета Павла. *Павел отнял у него жену, теперь Коба отнимал жену у Павла.* Имел право! Наша логика – логика азиатов.

– Я не могу смотреть на него без слез – такой у него печальный взгляд!.. – продолжала Мария.

И вправду, Коба глядел на нас с какой-то тоской.

Я тогда не понимал, почему он печалился. А он уже знал, что расстанется с нами. Мы должны были исчезнуть вместе с ненужной, опасной, старой партией...

Расходились под утро. Он проводил каждого до двери. И поцеловал всех с тем же печальным видом. Больше в таком составе он уже никогда не соберет нас.

Когда мы разъехались, в квартире остались Коба и Авель. Сначала они молча пили. Потом у них состоялся разговор.

– Много охраны стало в Кремле, – заметил Авель.

– Постановление ЦК, – вздохнул Коба. – Ничего не поделаешь. Хотя идешь порой мимо них и думаешь: кто из них выстрелит тебе в спину?

Еще помолчали. Наконец Коба спросил его:

– Почему молчишь?

– А что я должен говорить?

– Как – что? Понял ли свою ошибку? За этим вызвал тебя...

– Не все ли равно? Понял, не понял – все равно убьешь. Всех нас убьешь. Я ведь тебя знаю. Я да еще, пожалуй, Фудзи... мы тебя знаем.

– Чепуху несешь! На вопрос почему не отвечаешь?

– Ты хочешь спросить, нужно ли расстреливать старых партийцев за придуманные тобой преступления? По-моему, нет! Тысячу раз – нет!

И тогда они начали орать друг на друга. Но мягкий Авель (которого, кстати, обожала дочь Кобы) оказался крепок как камень. Уходя, он попрощался с Кобой, обнял его. И сказал:

– Обязательно буду приходить к тебе *после*. И всегда спрашивать: «Каин, где твой брат Авель?»

Коба выругался...

Все это рассказал мне сам Авель накануне своего ареста, презрительно глядя мне в глаза.

Легко ему было презирать мое молчание! Он, в отличие от меня, не имел семьи. И ещё...

Он умел оставаться собой в присутствии Кобы, а я – нет.

Коба действовал на меня, как и на многих, словно удав на кролика. Точнее – кроликов.

Мой друг Коба... Мой любимый друг Коба. Который вскоре расстреляет другого нашего любимого друга – Авеля Енукидзе.

## Настала очередь Бухарчика

В это время я был впрямую назначен, как бы помягче сказать, соглядатаем к Бухарину. Расскажу, как это случилось...

Положение Бухарина резко ухудшилось в самом начале тридцать шестого года.

Поползли настойчивые слухи о том, что в своих показаниях об убийстве Кирова Зиновьев и Каменев упоминали его имя.

Наша главная газета «Правда» неожиданно выступила с жесткой критикой Бухарина. Я как раз приехал из Женевы и готовился вскоре туда вернуться, когда меня вызвал Коба.

Входя в его кабинет, я столкнулся с Бухариным. Он был невероятно весел, даже напевал. Подмигнул мне, хотя, повторяюсь, мы с ним были мало знакомы. В нем всегда было что-то очаровательно-мальчишеское...

В кабинете Коба сидел один. Помолчав, сказал:

– Видишь, как он обрадовался. В Париж его отправляю. Интересный человек этот Бухарчик. Сейчас он клеймит Зиновьева, Каменева. С готовностью объявляет их предателями. А пару месяцев назад к нему пришел твой давний дружок, зиновьевский выкормыш Шляпников...

– Он не был моим другом, – поспешил сказать я (Шляпникова на днях арестовали).

– Бухарчик с ним наобнимался, – будто не слыша, продолжил Коба, – повздыхал о ленинских временах, потом спохватился – понял, что узнаю! И тотчас после ухода Шляпникова написал мне: «Приходил Шляпников, от него политически воняет». Да и Зиновьев перед арестом навещал его, оба потосковали об Ильиче, понасмешничали над товарищем Сталиным. И также Бухарчик тогда испугался и написал товарищу Сталину, как заставил «подлеца Зиновьева» – так он назвал своего вчерашнего союзника – «выпить за Сталина». Ну как ему верить? Как им всем верить?! Все они проститутки, Фудзи. Но Бухарчика я люблю. Хоть он меня в глубине души ненавидит. И я решил сделать ему подарок. Политбюро постановило купить в Париже архивы Маркса и Энгельса... – (Этот архив принадлежал социал-демократической партии Германии. После ее разгрома Гитлером они сумели вывезти архив в Европу.) – Хранится теперь Марксов архив у меньшевистской сволочи. Распоряжаются им Николаевский... – (меньшевик, историк), – и Дан. – (Как быстро его забыли в России... А ведь два десятка лет назад этот лидер меньшевиков гремел, в Февральскую Революцию был одним из вождей Петроградского Совета!) – Я посылаю в Париж за архивами Бухарчика. – Коба помолчал и прибавил: – С молодой женой... Пусть погуляет, развеется, а то статья в «Правде» его сильно напугала. Ему костюм новый пошили, чтоб щеголем поехал. Ведь с женой отправляется, – и прыснул в усы, глядя в упор на меня. – Николай едет вместе с делегацией... В делегации: директор ИМЭЛ... – (Института Маркса – Энгельса – Ленина при ЦК ВКП(б), – руководитель ВОКС... – (Всесоюзного общества культурной связи с заграницей. Всех потом расстреляет Коба.) – Директор, – продолжал он, – типичный наш партийный мудака, ему можно подсунуть любое говно вместо Маркса. Проверять подлинность, вести контакты будет наш умный Бухарчик, а глава ВОКС – торговаться... Зачем я тебе все рассказываю? Мижду нами говоря, боюсь за Бухарчика. Вдруг он из страха... – Он так и не сказал: «останется». Еще походил по кабинету. – К тому же у него павлиний характер. Бог знает чего наплетет. Он будет встречаться с этими меньшевиками. Не в службу, а в дружбу – последи за ним. Сообщи, что там наговорит наш Камиль Демулен, как назвал его товарищ Ромен Роллан. Опасно, мижду прочим, назвал... если помнить, чем кончил этот Демулен! – и опять прыснул в усы.

Один я понял до конца, какой великий ход сделал Коба. Он надеялся, что Бухарчик после грозной статьи и еще более грозных слухов попросту останется в Париже. Потому послал его

вместе с женой. Не хотелось Кобе его судить. Уж очень любили Бухарчика его дети, особенно Светлана. Да и среди молодых партийцев, и в Коминтерне у него было множество почитателей. Лучше бы сам сбежал! И это бегство стало бы не только сигналом к арестам вчерашних «правых». Оно послужило бы доказательством, что все эти ленинцы – на самом деле скрытые враги и явилось бы хорошей поддержкой будущих процессов. Ведь тогда, в марте тридцать шестого года, первый открытый процесс против Зиновьева – Каменева лишь готовился... Но если даже Бухарчик не останется во Франции, он наверняка не сумеет держать язык за зубами!..

Коба молчал, и на лице его появилось то самое *опасное раздумье*.

Он наконец закончил мысль:

– Если же он останется... Он ведь кладезь важных секретов. Не обойди его своей заботой, *распорядись* тогда. Короче, ты едешь в Париж...

Так он сделал меня стукачом и возможным убийцей. И я поехал.

Пока Бухарин добирался в Париж через Вену, Амстердам и Копенгаген (где хранились Марксовы бумаги), я все организовал.

Бухарина с делегацией поселили в роскошном отеле «Лютеция» (отеле с мрачноватой судьбой – во время будущей войны там расположится гестапо).

Далее все пошло, как задумал великий шахматист Коба. Воздух свободы воистину опьяняет. Всякий, кто жил в СССР, знает это опасное ощущение. Попадая за границу, советский человек зачастую не понимает, что и там продолжается любимая Родина. Только незримая. К тому же не зря заботливый Коба разрешил ему взять в Париж жену...

Они упивались Парижем и сходили с ума от любви и свободы.

С обладателем архива меньшевиком Николаевским наша делегация встречалась в кафе в «Лютеции».

Не стовариваясь, Николаевский и Бухарин обычно приходили чуть раньше условленного срока. Пока к ним не присоединялись остальные члены делегации, они беседовали вдвоем. Уже в первой такой беседе Бухарин изложил Николаевскому любимые мысли о пагубности коллективизации. Все это время наши люди буквально окружали их. Пара французских коммунистов, выполняя партийное задание, сидели за соседними столиками. За другим завтракали двое моих агентов. Они поселились в той же гостинице, чтобы их постоянное присутствие в кафе не вызывало подозрений.

С самого начала переговоров о покупке архива выяснилось, что Коба выделил ничтожные деньги. Сумма, требуемая Николаевским, оказалась неподъемной для делегации. Бухарин тотчас написал Кобе. Пока ждал ответа, договорился встретиться со злоязычным Даном. Это уже была непредусмотренная встреча, и на нее он взял жену, перед которой, конечно же, вдоволь покрасовался.

Дан долго говорил комплименты уму Бухарина, красоте супруги. После такого Бухарин стал совсем искренним и на вопрос о Сталине всласть высказался:

– Это маленький злобный человек. Точнее, не человек, а дьявол.

– Как же вы ему доверили свою судьбу, судьбу партии, судьбу страны? – счастливо спросил Дан, уже представляя, как будет все это рассказывать.

– Не ему, а человеку, которому доверяет партия. Он, к сожалению, теперь для народа – олицетворение партии. Вот почему мы все лезем к нему в хайло, зная наверняка, что он пожрет нас всех.

– Зачем же вы тогда возвращаетесь?

– Жить, как вы, эмигрантом, я не смогу. Нет, будь что будет... – и, взглянув на жену, добавил: – А может, ничего не будет.

Все это Дан тотчас поведал своей подруге социал-демократке Фанни Езерской в любимом эмигрантами ресторане «Ротонда». И все это записали наши агенты, постоянно там работавшие.

Бедный Бухарчик не мог не говорить. Недаром Ленин запрещал рассказывать ему партийные секреты, недаром он называл его «Коля-балаболка»...

Бесконечно болтал Бухарчик и с Николаевским, и тот тоже все записывал – для истории. Хотя, боясь навредить Бухарину, Николаевский свои записи не публиковал, но давал читать друзьям. Этого было достаточно, чтобы всё отправилось к Кобе.

Но что было совсем нехорошо: Бухарин тайно встретился в Париже с послом США в СССР Буллитом и сообщил ему о новых, странных прогитлеровских настроениях, все сильнее овладевавших Сталиным, а также о восторгах Кобы по поводу геббельсовских пропагандистских трюков.

Встретилась с ним и меньшевичка Фанни Езерская. Она сказала ему:

– На днях у нас появились точные сведения о том, что Зиновьев и Каменев уже показали против вас. И вас ждут, чтобы сделать участником нового процесса... – Она предложила ему остаться и начать вдвоем издавать оппозиционную Сталину газету: – Вы единственный в мире, кто смог бы стать ее успешным редактором.

Бухарин задумался, а потом спросил Фанни:

– Чем вы занимаетесь во Франции?

– Работаю на фабрике.

– А я не смогу. Я привык к политической деятельности.

– Боюсь, что ни политической, ни какой-то другой деятельности у вас отныне не будет!

– Нет, он не посмеет... Впрочем... у меня нет выбора...

Поездка оказалась бессмысленной. Денег, которые просили меньшевики за архив, Коба не дал – зачем бережливому Кобе тратить деньги на какие-то Марксовы черновики? Главная цель достигнута: Бухарчик не остался, но достаточно наговорил.

## Великий театр великого режиссера

Бухарин вернулся. Прилетел в Москву и я. Надо сказать, что я постарался не перегружать свой отчет его фразами. Но это уже не могло ему помочь: параллельно работавшие агенты Ягоды каждый день сообщали о его разговорах в Москву.

Коба вызвал меня в Кремль, и я застал в кабинете Бухарина. Я испугался, что Коба сообщит ему о моей слежке за ним. И начнется отвратительная очная ставка. Но ничего подобного. Он сказал ему:

– Не печалься, Николай. Архив мы все равно купим. Кроме нас, у них других покупателей нет и не будет. Так что подумают и уступят в цене...

Бухарин ушел.

– На Памир поехал отдохнуть. Пусть сил наберется, они ему понадобятся. А ты записал все, что наговорил «балаболка»?

– Все, что передали мои агенты.

– Ну, хорошо, если так.

На открытии процесса Зиновьева – Каменева я был в Лондоне. Но, вернувшись, побывал на нескольких заседаниях.

Начало процесса совпало с началом театрального сезона в Москве.

И не зря. Великий актер Коба любил театр. На всех процессах над отцами нашей Революции мой великий друг был сразу и великим драматургом, и великим режиссером. Все, начиная со сценографии, тщательно продумал режиссер Коба. Для постановки суда над вождями *Октября* он выбрал *Октябрьский* зал Дома союзов. Тот, кто не знал Кобу, усмотрел бы в этом злорадную насмешку. На самом деле в этом был пафос. Коба всегда любил патетические образы, как положено восточному человеку. На этот раз он внедрял в сознание: те, кого называли отцами Октября, в действительности – злейшие враги Октября. И потому их следует разоблачать в зале, названном в честь Великого Октября.

Кровавые краски Революции: огромный стол покрыт красной скатертью. Возвышаются монументальные кресла с гербами Советского Союза. У правой стены за деревянной перегородкой – подсудимые. За ними – красноармейцы с винтовками. Свет направлен на винтовки, грозно поблескивают примкнутые штыки.

Прокурор Вышинский выступает с яростной длинной речью. Перед страной разворачивается увлекательная картина тайных преступлений Зиновьева и Каменева. Потрясающий детектив. Исполняя губительные директивы зловещего Троцкого, Зиновьев, Каменев и сообщники вступают в тайный заговор против Страны Советов. Организуется подпольный центр для покушений на руководителей партии и государства. По их заданию многочисленные сподвижники осуществляют убийство любимого народом Кирова, создают в стране террористические группы для убийства Сталина и его верных соратников. Но гибель Кирова не проходит им даром. Возмездие не заставляет себя ждать. Всевидящее око НКВД разоблачает тщательно законспирированный заговор...

– Бешеные псы должны быть расстреляны! – призывает Вышинский.

Зал (массовка, состоящая из наших агентов) одобрителем грозным гулом поддерживает прокурора.

Вне зала Коба сделал массовой всю страну. Общий клич – «Распни!»

Заводы и фабрики (некоторые недавно носили имена Зиновьева и Троцкого) на многотысячных митингах проклинаят и требуют смерти.

И каждое утро страна поглощает захватывающие известия. Газеты раскупаются мгновенно. Приятно читать о падении всемогущих богов. Имена, еще вчера соединявшиеся с именем Боголенина, Коба делает ругательствами.

После усердных репетиций со следователями обвиняемые отлично играли пьесу Кобы. Вчерашние вожди Революции в подробностях рассказывали, как губили Революцию. И как вместе с Троцким задумали убийство Кирова.

В заключение Зиновьев и Каменев сами попросили для себя смертной казни...

Это происходило на сцене. Но в перерывах подсудимые удалялись в маленькую дверь, которая располагалась у них за спиной.

За ней начинались кулисы театра Кобы. Я был там однажды – передавал Вышинскому очередное указание. Как и положено, за кулисами находились буфет и комната, где подсудимые отдыхали от удивительного представления. Здесь сидели Ягода, Ежов и Вышинский. Вышинский, только что яростно клеймивший их в зале, мирно и уважительно обсуждал с ними дальнейшее течение придуманной Кобой пьесы. Ягода тоже помогал советами, давал последние указания. Короче, оба вели себя так, как и надлежит дежурным режиссерам во время спектакля.

Главный режиссер Коба позаботился обо всем – и даже о непредвиденных обстоятельствах. На случай, если обвиняемым пришлось бы в голову нарушить ход придуманного действия, наши агенты, изображавшие публику, были наготове. Криками негодования они могли в любую минуту заглушить их речь.

Но ничего такого не произошло – подсудимые успешно доиграли свои роли до конца. Мой великий друг даже предложил им пофилософствовать, ведь прежде оба считались крупными теоретиками.

– Вы спросите, как я мог сочетать террор с большевизмом? – обращался Зиновьев к публике. И заботливо, неторопливо, будто учитель ученикам, объяснял: – При моем извращенном большевизме я считал, что все средства хороши для достижения цели. И этот извращенный большевизм должен был неминуемо докатиться и докатился до троцкизма и терроризма...

Послабее, но тоже порой неплохо выглядел Каменев:

– В третий раз я предстаю перед пролетарским судом. Дважды мне сохранили жизнь. Но есть предел и великодушию пролетариата... Каков бы ни был мой приговор, я считаю его справедливым!

Думаю, Каменев, в отличие от Зиновьева, не верил Кобе. Чутье ему подсказывало: это – смерть. Но он решил спасти хотя бы своих детей. Потому в последней речи он обратился к ним:

– Не оглядывайтесь назад, идите вперед и только вперед! Вместе с народом следуйте за великим Сталиным!

## Продолжение триллера

На процессе страна узнала воистину сенсацию: Зиновьев и Каменев раскрыли сподвижников. Оказывается, они действовали не одни. Посыпались фамилии, и какие! Те, кого страна почитала все эти двадцать лет, – Бухарин, Рыков, Томский, Радек, Сокольников и прочие вчерашние партийные вожди, друзья Ильича! Они были названы участниками террора. Почти все ленинские соратники – преступники, причастные к заговорам и террористическим актам... Выяснилось, что наряду с Объединенным троцкистско-зиновьевским центром (то есть объединением Троцкого, Зиновьева и Каменева) они создали некий преступный параллельный террористический центр, готовивший *дворцовый переворот*. Вот такой неожиданный сюжетный ход!

Услышав эти показания, застрелился один из отцов Октября, вчерашний член Политбюро и глава профсоюзов Михаил Томский. Этот потомственный рабочий выступал против разгрома деревни вместе с Бухариным и Рыковым... Я как сейчас вижу маленького, тщедушного морщинистого человечка. У него хватило воли пройти царскую каторгу, но каторгу в созданном им государстве он пройти не захотел... «Запутавшись в своих контрреволюционных связях...» – так сообщили газеты.

Только теперь я стал понимать, что мой великий друг написал очень длинную пьесу, и ее действие лишь начиналось. Вся страна вместе со мной готовилась услышать продолжение захватывающей интриги...

Уже вскоре было объявлено: все лица, упомянутые на процессе, допрашиваются, идет новое следствие!

Словосочетание «дворцовый переворот» стало тогда очень популярным в стране Октября.

Все это время я размышлял: зачем? Зачем Кобе *это*? Ведь ни о каком параллельном центре тогда, в Кремле, на встрече Кобы с Зиновьевым и Каменевым, не говорилось. Шла речь только о Троцком, о единстве международного рабочего движения. И я с ужасом думал: неужто Троцкий был просто запевом? И Коба решил избавиться от всех? Всех *прежних*? Повторяю: *с ужасом*, ибо я – тоже *прежний*!

Я старался гнать эту мысль. Я был его другом. Но и Бухарин был его другом. И «наш Григорий» (как он еще недавно называл Зиновьева) был его другом...

И другой вопрос мучил меня: почему Зиновьев и Каменев согласились оболгать вчерашних знакомцев, коллег по партии – отправить их на смерть? Признаюсь, сначала я полагал – пытки! Но теперь достоверно знаю: никаких пыток не было. Наоборот, следователи держались с ними весьма предупредительно, как и велел Коба.

Лишь потом, уже в тюрьме, мне все рассказал один из заместителей Ягоды, некто Прокофьев (его тоже впоследствии расстрелял Коба).

Оказывается, через некоторое время после разговора, которому я был свидетель, Коба опять позвал Зиновьева и Каменева в Кремль. Их проводили в его кабинет. Самого Кобы там не было, но их ждали великолепный обед и Молотов – в обличии молчаливого гостеприимного хозяина. *И ещё – газеты*. Множество газет с проклятиями в их адрес – проклятиями вчерашних друзей и просто хороших знакомых, всех, кто делил с ними эмиграцию, а затем власть.

Пока они читали газеты, Молотов не проронил ни слова, наблюдая за ними. Оба пришли в бешенство. По окончании чтения он сказал, что у Политбюро есть к ним важнейший вопрос, который завтра озвучит им Ягода.

И в заключение спросил от имени Кобы: соблюдаются ли договоренности насчет режима, не нуждаются ли они в чем-нибудь? Сообщил, что ЦК поручил Ягоде выполнять все их просьбы. И даже допустить к ним членов семей...

После этого Коба вызвал Ягоду. И велел ему задать Зиновьеву и Каменеву вопрос от имени ЦК: всех ли сообщников они назвали? Не состояли ли в заговоре с ними и другие участники прошлых оппозиций? И продиктовал Ягоде длинный список «громких» имен.

Ягода, бледный, вернулся на Лубянку во внутреннюю тюрьму. Коба был прав – он никак не мог преодолеть пиетет перед прежними вождями и весьма нерешительно передал его вопрос. После прочел список. Зиновьев и Каменев выслушали его с усмешкой. Попросили время посоветоваться. Совещались недолго. Каменев от имени обоих согласился со списком! Ягода был в ужасе, он не ожидал ничего подобного.

Мой великий друг рассчитал точно. Прочтя газеты, они не только пришли в ярость. Они захотели отомстить вчерашним сподвижникам, которые с таким энтузиазмом поспешили предать их. Начиная шахматную партию, Коба уже предвидел такой поворот. Он великолепно играл длинные шахматные партии. «Горе тому, кто станет жертвой его медленных челюстей!» Но думаю, была еще одна причина показаний Зиновьева и Каменева, и ее не понял искусный игрок. Они не просто тянули за собой в могилу всех вчерашних большевистских лидеров. Обвиняя почти всех основателей большевистского государства в том, что те хотели уничтожить основанное ими же государство, Зиновьев и Каменев решили показать миру весь абсурд обвинений.

Коба попался в капкан, поставленный собственноручно.

В это время с Памира примчался Бухарин. Он уже прочел показания Зиновьева и Каменева. И теперь истерически пытался дозвониться до Кобы. Ему объявили, что Кобы в Москве нет, он в Сочи и к телефону не подходит – работает.

Это была официальная версия. Коба, как обычно, захотел остаться ни при чем. Но я знал: он в столице. Упивается успехом придуманного зрелища.

Придя в первый раз на процесс, я оказался в задних рядах. И изумился, почувствовав запах... табака. В зале курить, естественно, воспрещалось. Я обернулся посмотреть на смельчака-нарушителя. И увидел... В самой глубине небольшого Октябрьского зала на голубой стене было маленькое окошечко для киномеханика, завешенное белой занавесочкой. Оттуда, из-за занавесочки, и вился дымок. Я различил знакомый сладковатый запах «Герцеговины Флор» – любимого табака Кобы, которым он так неторопливо, заботливо набивал свою трубку.

Что ж, это было вполне естественно. Главный режиссер должен наблюдать за спектаклем, который так блистательно поставил.

Зиновьева и Каменева приговорили к смерти. Они выслушали приговор спокойно. Ведь оба знали: они отлично сыграли его пьесу. Им оставалось написать только просьбу о помиловании, которую Коба должен был удовлетворить.

Вернувшись в камеру, оба написали положенное прошение. Зиновьев – почувствованное. Переписывал несколько раз. Говорят, он волновался, не спал всю последнюю свою ночь, бегал по камере.

Каменев черкнул лишь несколько сухих обязательных строчек. И лег спать. Рано утром за ними пришли...

В это время я читал историю Великой французской революции, удивляясь, как до смешного (точнее – ужасного) все было похоже.

Жалкий несчастный Зиновьев, столь беспощадный во время Красного террора, совсем ослабел, когда его повели расстреливать. Он стал звать Кобу!

Так же звали Робеспьера Эбер и Шомет, вожди «бешеных», когда их везли на гильотину по приказу Робеспьера...

Зиновьев до последней минуты заставлял себя думать, что его палачи не знают о договоренности с Кобой, что это ошибка... Бедный «товарищ Паника»!

Каменев до конца оставался совершенно спокоен. Он был логик и не пытался изменить неотвратимое. Он знал моего друга.

На следующий день после расстрела Зиновьева и Каменева я пришел в кабинет Кобы. Там уже находился Паукер – начальник его охраны. Коба послал его присутствовать при расстреле. Был там и Ягода. Еще бы! Впервые Революция убивала своих вчерашних вождей! Ягода рассказывал, как они вели себя во время расстрела, Паукер показывал. Это была целая пантомима. Паукер изображал, как Зиновьев беспомощно повис на плечах охранника, как волочил ноги, жалобно скулил, потом упал на колени и завопил: «Пожалуйста, ради бога, товарищ, вызовите Иосифа Виссарионовича!» Паукер точно схватил зиновьевский фальцет, который теперь, после смерти Зиновьева, опять зазвучал в кабинете Кобы...

Смешливый Коба хохотал до колик. Паукер продолжал, показал, как Зиновьева поставили к стенке. Он прокричал отчаянным зиновьевским голосом уже от себя: «Услышь меня, мой Израиль! Наш Бог есть Бог единый! Позовите Иосифа Виссарионовича!»

Коба не мог больше выдержать и, захлебываясь, знаками умолял Паукера прекратить представление. Он умирал от смеха!

Много раз в тот день показывал Паукер этот номер. Много раз хохотал смешливый Коба.

И только потом я понял причину его неудержимого смеха. Затянутый в корсет Паукер с орденом Ленина на груди смешил Кобу, ибо судьба самого Паукера уже была предрешена. Удачливый шут, к сожалению, принадлежал к старой гвардии чекистов, которой предстояло уйти. Этот хитрец Паукер придумал служить всем членам Политбюро. Он доставал им автомобили, собак, платья для жен, игрушки для детей. И стал их близким другом – к несчастью для себя, ибо почти все они должны были исчезнуть... И Коба отлично представлял, как у расстрельной стенки сам Паукер будет вопить: «Позовите Иосифа Виссарионовича!» И сползать на пол, обнимая ноги своих палачей.

Мой друг чувствовал себя Судьбою, хохочущей над жалкими людишками.

Когда Ягода ушел, Паукер пожаловался Кобе:

– Я хотел взять себе для сувениров пули, которыми были убиты эти мерзавцы, – (так их положено было теперь называть), – но Ягода забрал их себе.

– Товарищ Ягода, известный любитель истории партии, должно быть, считает мерзавцев историческими личностями. Оттого разоблачение шло у нас так медленно, – усмехнулся Коба. – Что ж, пусть владеет, – и он прибавил с непередаваемой интонацией: – Пока.

Паукер понимающе засмеялся.

Ягода пал в конце сентября. Передавали официальные слова Кобы: «Превратил следствие в санаторий. Вместо того чтобы сразу покончить с изменниками, растянул расследование на два года».

Главой НКВД стал карлик с добрыми глазами – Ежов. Ягоду Коба сначала назначил наркомом связи.

У нас рассказывали, что Ежов уже в первые дни во главе Лубянки приказал арестовать сына Каменева. Я знал мальчика с детства, с той матроски Цесаревича, которую на него смело надевала презиравшая предрассудки мать.

(Революция уничтожила чувства. Помню, Бухарин во время Пленума ЦК решил пригласить Ильича на охоту. Он отправил ему в Президиум приглашение – подстреленную на охоте перепелку! Получив птичий трупик, Ильич весело расхохотался над проказливостью «любимца партии».)

В отличие от отца, великолепно образованного и помешанного на марксизме, сын Каменева был веселый, легкомысленный прожигатель жизни. Но вина его состояла в том, что он был сыном Каменева.

Я не забыл презрительный взгляд Авеля Енукидзе... Что греха таить, он меня мучил. И решил попросить Кобу за каменевского сына.

Стоял великолепный день, пригревало осеннее солнышко.

Я гостил у Кобы на Ближней. На дачу приехал и Молотов. После чая я сказал:

– Ежов совсем рехнулся. Арестовал сына Каменева – Лютика.

Не успел закончить фразу – бешеный взгляд Кобы. И ярость!

– Никогда, слышишь... никогда не вмешивайся! Не вмешивайся! Я хочу, чтоб ты жил...

Поэтому не вмешивайся, – повторял и повторял он в бешенстве. Потом заговорил: – Ты что, не понимаешь, почему мерзавцы согласились всех выдать? Они ловушку мне устроили. Бляды дети. Они, сходя в гроб, решили пошутить с товарищем Сталиным. Дескать, выдадим как можно больше, и тогда уже никто не поверит в процессы. И товарищ Сталин станет убийцей в глазах международного движения. Товарищ Сталин понял! Объясни ему, Молотов. Объясни внятно этому глупцу принятый партией новый закон о семьях репрессированных.

Молотов, заикаясь (очень волновался), сказал:

– Членов семей врагов народа мы не можем оставлять на свободе. Они наверняка будут сеять не нужные нам настроения. Поэтому жены осужденных врагов народа автоматически должны заключаться в лагеря сроком до восьми лет. Малолетних будем отправлять в детские дома, чтобы они выросли там достойными гражданами родины. Юноши старше пятнадцати лет отправятся в лагеря на разные сроки...

– Но есть те, – перебил Коба, – кто представляет особую опасность... Например, сын мерзавца, двурушника, бандита, убийцы Каменева. Он военный летчик. Разве не может военный летчик в отместку, допустим... сбросить бомбу на Кремль? А потом другой маленький каменевский волчонок подрастет! Неужто ты не понимаешь, Фудзи? У нас идет продолжение Революции. Второй раз после семнадцатого года уничтожаем аристократию, теперь подразложившуюся, советскую!

...Судьбу всей каменевской семьи я узнал только через много лет. После процесса были расстреляны его жена (та самая начальственная дама, сестра Троцкого) и старший сын Лютик. Младший прожил до семнадцати лет. Коба терпеливо дождался, пока он подрастет, но убрал и его. Все помнил Коба. И если требовалось, не спешил. Были расстреляны и старшие сыновья Томского.

Когда я уходил, Коба вдруг сказал ласково:

– И еще. После хитростей Каменева и Зиновьева надо осветить *будущие* процессы должным образом. – Он прошелся по кабинету. – Необходимо преодолеть пакость, сделанную расстрелянными негодьями, и вернуть доверие мировой общественности к происходящему. Поэтому подумай, дорогой, кого из европейских знаменитостей следует для этого пригласить. Полагаю, приглашенный товарищ не должен быть ни социал-демократом, ни коммунистом. Пусть будет беспартийный интеллигент, широко известный в Европе.

Итак, Кобе понадобился благосклонный критик его пьесы.

Скажу откровенно – нужен он был и мне. Я сразу почувствовал, как изменилось отношение к нам в Европе. Еще в прошлом году Ромен Роллан славил СССР: «Да покорит человечество идея, которой вы служите, и вера, которая воплощена в вас!» Эти слова с гордостью повторяли мои добровольные агенты в Европе. Теперь у них были одни вопросы и ужас в глазах.

Я сказал Кобе, что, скорее всего, следует пригласить какого-нибудь знаменитого интеллектуала – еврея, бежавшего из Германии от Гитлера. Борьбу против Гитлера возглавляем сегодня мы, к тому же подобные люди испытывают материальные трудности. Короче, они особенно нас любят.

– Это все без тебя ясно. Скажи, дорогой, кого конкретно? Я спрашиваю тебя как большого специалиста по Германии. Мы ведь впоследствии будем сажать тебя как немецкого шпиона. Правда, Молотошвили? – (Коба так его называл, когда был в очень хорошем настроении.) – и прыснул в усы.

После долгого раздумья я предложил позвать знаменитого немецкого писателя Лиона Фейхтвангера.

## Накануне конца «Наполеончика»

Бедный Бухарин наконец дозвонился Кобе. Тотчас в «Правде» я прочел: следствие против Бухарина и Рыкова остановлено. Но только они успокоились, как следствие возобновилось. Под следствием оказался и Тухачевский, главный маршал Революции, «наш Наполеончик», как насмешливо называл его Коба.

Выходец из обедневших дворян, Тухачевский умудрился в Первую мировую войну за шесть месяцев боев получить шесть боевых орденов – в месяц по ордену. Был взят в плен, пять раз бежал, прошел пешком полторы тысячи километров. В октябре семнадцатого года он вновь объявился в России. Сделал поистине наполеоновскую карьеру – от вчерашнего подпоручика до красного маршала. В отличие от прочих полуграмотных военачальников Тухачевский был великолепно образован, знал языки. Однако своих коллег, белых офицеров, перешедших на сторону красных, не любил. Называл их «забитыми и лишенными всякой инициативы». Блестяще проявил себя при разгроме белых армий Деникина и Колчака. Законный сын нашей горькой Революции, он беспощадно подавлял крестьянские восстания на Тамбовщине, травил газом несчастных крестьян, захватил и расстрелял восставший против нас матросский Кронштадт.

Тухачевский сам рассказывал: «Я был пять лет на войне, но я не могу припомнить, чтобы когда-либо наблюдал такую кровавую резню. Это не было больше сражением. Это был ад. Матросы бились как дикие звери. Откуда у них бралась сила для такой боевой ярости, не могу сказать. Каждый дом, который они занимали, приходилось брать штурмом. Целая рота боролась полный час, чтобы взять один-единственный дом, но когда его наконец брали, то оказывалось, что в доме было всего два-три солдата с одним пулеметом. Они казались полумертвыми, но, пытаясь, вытаскивали пистолеты, начинали отстреливаться со словами: «Мало уложили вас, жуликов!»

Маршал не уточнял, что было после того, как он взял Кронштадт. Он превратил его в руины, расстреливал сдавшихся, тысячи трупов валялись на улице. Он участвовал в походе на Польшу. Вместе с полуголодной, босой армией сумел дойти до стен Варшавы. Но дальше нести Революцию на наших штыках поляки ему не дали...

Его высоко ценил прежний Верховный главнокомандующий – Троцкий, и это стало главной причиной его поражения у самых стен польской столицы. Готовя штурм Варшавы, Тухачевский потребовал дать ему знаменитую конницу Буденного. Первая конная армия Буденного находилась в распоряжении южной группировки наших войск, возглавляемой будущим маршалом Егоровым. Однако главнокомандующий Троцкий приказал немедленно передать конницу Тухачевскому.

Комиссаром южной группировки являлся Коба. Всюду, где он появлялся, Коба распоряжался ситуацией. И как всегда, он бойкотировал приказы Троцкого. У моего друга были свои грандиозные планы. Он решил захватить Львов, оттуда ударить по Варшаве, самостоятельно взять столицу и славу. Далее через Австрию стремительным марш-броском ворваться в Германию – поддерживать немецкую Революцию.

В результате армию Тухачевского разбили. Вместе с ней армия Егорова и Кобы была отброшена в Россию.

Коба об этом никогда не забывал. Потому оба свидетеля его позора – Тухачевский и Егоров – были обречены...

Но тогда следствие против Тухачевского остановилось, чтобы... вскоре возобновиться. Я не сомневался в этом, зная любимые кошачьи игры барса Революции. Кроме того, Коба всегда старался использовать способности будущей жертвы до конца.

В эти последние месяцы перед концом Тухачевского Коба несколько раз принимал его, внимательно выслушивал предложения о реорганизации армии. Тухачевский определил будущую войну как «войну моторов» – танков и самолетов (создание мощной боевой авиации, замена устаревшей кавалерии танками). Коба всё это хорошо запомнил.

Именно в те дни Тухачевский разработал штабную игру, где наглядно продемонстрировал план будущей войны с немцам. Во время игры мы наносили внезапный удар Германии, после того как она развязала войну с Францией и Англией.

Коба отправил меня в наркомат обороны послушать обсуждение игры. В конце обсуждения нарком Ворошилов сделал какие-то незначительные замечания. На что Тухачевский преспокойно заявил:

– К сожалению, мы не можем принять ни одной из ваших поправок, товарищ нарком.

– Почему? – растерялся Ворошилов.

– Потому что они некомпетентны, товарищ нарком.

И «наш луганский слесарь Клим», как называл его Тухачевский, побледнел и... смолчал. Испугался дискуссии.

– Кто из нынешних способен так издевательски говорить с наркомом? – усмехнулся Коба. – Только наш Наполеончик! Товарищ Сталин не забыл разговорчики Врангеля!

(Пропасть лет назад, в двадцать втором году, я получил от своих агентов сводку о разговорах Врангеля в эмиграции. Привожу дословный текст: «Единственная сила в России, которая смогла бы сейчас взять на себя роль в свержении советской власти, – это командный состав Советской армии. То есть бывшие русские офицеры. Каста, спаянная дисциплиной, общностью интересов. Лица, близкие к Тухачевскому, указывают, что именно этот человек выдающихся способностей мнит себя русским Наполеоном. В дружеской беседе, когда его укоряли в коммунизме, он не раз отвечал: «Разве Наполеон не был вначале якобинцем?»)

Прошло четырнадцать лет, но мой друг помнил это донесение.)

Коба отправил меня отнести Тухачевскому письмо – с благодарностью за успешную военную игру. (Впоследствии во время следствия Тухачевского заставят признать, что игра была частью заговора по организации «дворцового переворота».) И конечно же, я должен был доложить Кобе, что происходит в квартире Наполеончика.

Тухачевский жил, как я уже писал, в одном со мной доме. В тот день он принимал в гостях худенького человечка в очках, похожего на мальчика. Это был молодой композитор Шостакович, которому маршал покровительствовал.

...Шостакович играл, а Тухачевский в турецком халате, утонув в огромном кресле, слушал, блаженно закрыв глаза, – наслаждался музыкой.

Я нарушил этот восторг и передал письмо Кобы.

Тухачевский как-то небрежно положил его на стол и попросил меня подождать, «пока гений закончит играть».

Шостакович закончил играть, но для письма Кобы опять не нашлось времени! Ординарец внес в комнату пугающе огромную картину в великолепной золоченой раме. Оказалось, полотно было куплено маршалом накануне. Называлось оно «Стол, заваленный убитой дичью» и принадлежало кисти кого-то из голландцев, современников Рембрандта. «Наполеончик» собственноручно водрузил необъятную картину на стену, после чего прочел нам лекцию о голландской живописи. Теперь уже восторженно слушал Шостакович... Вскоре в гостиной появился новый гость – крохотный старичок в пенсне. Это был знаменитый скрипичный мастер. И опять письму Кобе пришлось ждать. Дело в том, что сам Тухачевский изготавливал прекрасные скрипки.

Состоялось новое представление. Маршал вытащил из шкафа какой-то кусок дерева и объяснил нам с Шостаковичем:

– Этот чурбачок – дороже золота, его прислали мне из Закавказья. – После чего торжественно обратился к старичку: – Я хранил его пятнадцать лет. Но такую скрипку, которую делаете вы, мне не сделать. Я решился! – И торжественно протянул чурбачок мастеру.

Тот хищно схватил его, рассыпавшись в благодарностях.

Но, думаю, отдал маршал драгоценное дерево, потому что уже понял: *новую скрипку ему делать не придется.*

Скрипки и музыка помогали ему забыть в последние его дни. И еще – женщины. Говорят, он был необыкновенным любовником. Впоследствии одну даму в лагере расстреляли за рассказы *о впечатлениях.*

Наконец Наполеончик удалился с письмом Кобы в кабинет. Через десять минут, вернувшись в гостиную, передал мне конверт с ответом.

Когда я уходил, пришла очередная *она.* Я моментально узнал эту высокую роскошную брюнетку – видел красавицу в одном из кабинетов на нашей Лубянке, не запомнить её было невозможно. Теперь я не сомневался: время Тухачевского заканчивалось.

И действительно, как я предполагал, следствие против маршала вскоре возобновилось.

Именно тогда Коба попросил меня перевести один документ с немецкого.

Это была переписка Тухачевского с генералами вермахта. Речь шла... о государственном перевороте, который Тухачевский готовил вместе с соратниками!

– Чекисты из военной разведки неплохо работают, не чета твоим бездельникам. Большие деньги пришлось им заплатить, – и он уставился на меня.

Я промолчал.

## «Заслужи, дорогой, право жить»

Перед ноябрьскими праздниками Коба вновь позвал меня в Кремль. В кабинете сидел Молотов. Коба молча протянул мне листок. Это были подробно записанные разговоры Бухарина в Париже. Все его высказывания о Кобе.

Мрачно глядя на меня, Коба сказал Молотову:

– Я все думаю, почему товарищ Фудзи утаил в отчете многие преступные бухаринские слова? И почему он просил за каменевских выблядков? И почему он так скупо рассказал о посещении Тухачевского? Может, он тоже в троцкистской шайке? Как думаешь, Вячеслав?

Я облился потом.

– Если бы... – как-то брезгливо ответил Молотов. – Он не потянет. Обыватель. Пожалел детей и Бухарина.

– Нет, Вячеслав, дело серьезнее. Он разведчик. Мог ли он подумать, что я не узнаю? Мог, если только он херовый разведчик. Но он отличный разведчик. Значит, Молотошвили?

Молотов молчал.

– Значит, он не сомневался, что я все узнаю про разговоры Бухарчика. И конечно же понимал, что не следует просить за каменевских детей. Мы ведь с ним с Кавказа, нам все известно про кровную месть, которую должны исполнять подросшие дети. Просто товарищ Фудзи решил... решился показать, что имеет право на собственное мнение. Нет, дорогой Фудзи, мы идем к новым берегам, где не существует собственного мнения. Там есть лишь одно мнение. Объясни ему, Вячеслав.

– Есть только мнение партии, которое формулирует товарищ Сталин. Страна у нас стала единой. Кто против – зашибем!

– Нет, ты торопишь события, Вячеслав. Страна единой пока не стала – мешают! Но вскоре станет... Однако что же нам делать с товарищем Фудзи? – продолжал Коба. – Мы, Вячеслав, нынче с тобой волки – санитары леса. Мы должны вычистить страну. Беспощадно. Это нелегко. И в свете такой задачи как нам поступить с ним? Расстрелять его или не расстрелять? – Он заходил по комнате, задумчиво курия трубку. Повторил: – Расстрелять или не расстрелять?

Мое состояние описывать не стоит. Молотов явно не знал, куда Коба клонит. Он привычно загадочно молчал, поблескивая пенсне.

– Я так думаю, дадим ему возможность перевоспитаться, – засмеялся Коба. – Ты, Фудзи, продолжишь наблюдение за Бухарчиком. На этот раз, уверен, будешь повнимательнее писать отчеты. Заслужи, дорогой, право жить рядом с нами, с твоими товарищами...

Так он окончательно поставил меня на место, точнее, окончательно сделал меня стукачом.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.